

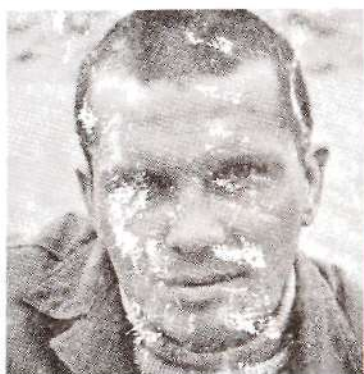
ВРЕМЯ ШМЫ 7 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ

Е. Цветков "Киностудия", "Удача" ▶

*Натан Файнгольд "Русские интеллектуалы"
и Израиль"*

▶ *Алексей Хвостенко "Зимний сонет"*



ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 7 май 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Е. Цветков

"Киностудия" 3

"Удача" 57

Нина Воронель

"Утомленное солнце" 69

ПОЭЗИЯ

Владимир Марамзин

"Гонения — его награда" 103

Алексей Хвостенко

"Зимний сонет" 107

Анатолий Жигалов

Стихи разных лет 111

ПУБЛИЦИСТИКА

Натан Файнгольд

"Русские интеллектуалы" и
Израиль" 115

Наталья Рубинштейн

"Кто читатель?" 130

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Мартин Бубер

"Путь человека" 137

КРИТИКА

Аркадий Белинков

"Собирайте металлолом!". 149

ИЗ ПРОШЛОГО

Виктор Перельман

"Я немец...". 165

Коротко об авторах 219

DIGEST OF SEVENTH ISSUE OF

"VREMIA I MI" ("TIME AND WE" 220

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон

Михаил Калик

Фаина Баазова

Вадим Меникер

Георгий Бен

Борис Орлов (*зам. гл. редактора*)

Лия Владимировна

Наталия Рубинштейн

Егошуа А. Гильбоа

Йосеф Текоа

Илья Гольденфельд

Аарон Ярив

Михаил Занд

Художник Лев Ларский,

Корректор Нина Островская,

Технический редактор Наталия Ларская.

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2009 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.



Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

ПРОЗА



Е. ЦВЕТКОВ

КИНОСТУДИЯ

ПАМЯТИ БУЛГАКОВА

Ровно и быстро бежит асфальтовая лента. Гроб слегка покачивается, подергивается из стороны в сторону. И скорбно-печально сидят на двух скамейках вдоль бортов катафалка родственники в темном и друзья. Молчаливые георгины пышно-похоронно колышутся в траурном великолепии. И урча мотором, катится автобус-катафалк в тесном потоке.

Визжат тормоза у светофоров. С гулом катится поток в раскаленном, бетонном желобе с асфальтовым дном. И судорожно сжимается кислород, уступая черноватой дрожащей бензиновой гари. Солнце слепым, раскаленным добела кругом повисло, и небо плавится, растекается, расплзается от него во все стороны белесыми, обожженными лоскутами...

Взвыли моторы, заскрежетали зубцы бесчувственных металлических шестеренок, и снова в монотонном гуле

катится катафалк. Покачиваются мерно в такт толчкам темные георгины, молчаливые фигуры, траурные, черные. А в закрытом деревянном ящике, на белой подушке мотается уже никому не нужная голова...

— Стой! Опять перекопали! — шофер выматерился про себя.

— Поехали в объезд, через Смирновскую.

— Там тоже работы. Вчера ехал, и пришлось поворачивать...

До крематория теперь даже не доберешься, — пробурчал кто-то сквозь зубы, — все стало сложно...

Темные фигуры родственников застыли.

— Попробуем, поехали!

Качнулись вперед-назад, и снова закачались в такт георгины. Автобус взвыл тонко и зло и, заурчав, покатился в каменном, раскаленном лабиринте. Солнце жарилось в вышине, застыв в одной точке...

— Стой! И тут перекопано...

— А через Трифионовскую?

— Там уже две недели проезд закрыт.

— Поехали вокруг, с Ленинского проспекта заедем...

...

— И здесь перекопали... — прошептал шофер от неожиданности и изумления. — Больше дороги нет. Придется нести или тележку достать.

Он вытер платком пот со лба.

Темные фигуры, как по команде, поднялись...

— Что, не проехать? — веселый парень в спецодежде подошел к автобусу. — Сегодня вы уже пятые. Вон тележка, возьмите. А то, если хотите, подложим бревнышки — и поезжай...

— Подкладывай бревнышки свои, да побыстрей!

— А ты не злобись, — добродушно сказал парень, — мы тоже дело делаем...

Родственники, как по команде, сели...

Автобус перевалился раз, другой с боку на бок и, зло фыркнув мотором, выскочил на асфальтовую дорогу, что вела в крематорий.

На центральной чугунной калитке крематория висел плакат с отчетливыми буквами:
КРЕМАТОРИЙ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ!
ПОХОРОНЫ ОТМЕНЯЮТСЯ!

Двое пьяных, держась друг за друга, остановились поодаль.

— Ты глянь, сегодня не хоронят. Рай и Ад на ремонте, Вася...

— Гы, гы, гы, — загоготал второй и мутными глазами уставился на гроб. — А кого это хоронят? — спросил он, заплетаясь в согласных. — Может, ему еще срок не вышел, а его хоронят...

— ...Ууффф... ну и жара, — выдохнул первый. — Каково ему там, в ящике?

— В крематории еще жарче, — второй пьяный неожиданно помрачнел и, зло сплюнув, резко дернул первого. — Пошли отсюда! Еще успеешь насладиться. Все там будем...

Солнце как застыло вверху, так и не двигалось. Только горело все жарче. Листья деревьев превратились в мягкие серо-зеленые тряпочки. Бессильно висели они на темных гладких ветвях. Ни ветерка. Только горит воздух, дрожит невидимо голубовато-серое пламя выгорающего кислорода, и все выше над раскаленным лабиринтом поднимаются, как тончайшая кисея, волны удушающей гари.

— Стоп! Отлично, ребята! Отлично!!

Невысокий, плотный человек выскочил откуда-то сбоку и радостно запрыгал возле гроба. Темные родственники, до этого витавшие гроб и молчаливо стоявшие вокруг него, ожили. Лихо подкатил автобус, до этого уехавший зачем-то за угол. Гроб ловко втолкнули в него, и все шумно полезли внутрь...

— Ну и жарница! Представляешь, если бы все снова пришлось делать.

Человек подскочил к плакату и, подпрыгнув, ловко его сдернул.

— Поехали! Поехали! — заорал он.

Из-за кустов выскочили люди с кинокамерами. Дверца автобуса лязгнула, и, лихо взбив пыль на обочине, катафалк сгинул за поворотом.

Двое пьяниц мигом протрезвели.

— Ты запомнил номер? — быстро спросил один из них. Второй кивнул.

— Беги и разузнай, кто нанимал катафалк. А я поеду на киностудию. Быстро! Встречаемся у шефа.

Дорожка перед чугунной решеткой опустела. Темный металл нагревался. Совсем свесились дряблые листья. И, неестественный, унылый, проталкивался сквозь душный плотный воздух звон из соседнего монастыря.

х х х

— ... Вы говорите в пятый раз приезжают?

— Да.

— Но ведь это естественно. Киносъемка. Иногда и по десять раз снимают одну и ту же сцену. Что вам показалось подозрительным?

— Катафалк.

— В каком смысле?

— Такого катафалка нет в Москве.

— Что значит нет? С таким номером?

— Нет, номер здесь ни при чем. Нет такого автобуса. У него много особенностей. Царапины и т.д.

— Ну и что? Значит, киношники используют какой-нибудь свой автобус. Вам это не пришло в голову?

— Видите ли, мы проследили за ним. Катафалк въехал через ворота на территорию киностудии и сгинул. Исчез!

Брови на сухом, гладком лице шефа вначале слегка поднялись, потом сдвинулись. Он чуть откинулся в кресле и медленно затянулся. Ароматный дым трубки плыл по кабинету.

— Мы обыскали всю территорию. Как в воду канул...

Тут брови шефа совсем сошлись на переносице.

— Вы что, проникли на территорию киностудии? — медленно спросил он.

— Нас туда пригласили, — поспешно пояснил молчавший до того второй инспектор.

— Пригласили? — теперь брови шефа опять чуть приподнялись.

— Выскочил какой-то толстяк и спросил, что нам здесь надо, а потом предложил делать все, что нам угодно, и выписал пропуск.

— И потом, — заговорил опять первый инспектор, — потом нет такого сценария...

— Как нет? — шеф пустил клуб раздраженно крутящегося дыма.

— Вернее, сценарий-то есть. Но никто еще и не собирался по нему снимать...

— А тот, кто снимает этот фильм, режиссер, ничего не знает об этих пяти выездах. Он думает начать съемку только где-то в следующем месяце.

— Почему вас заинтересовал этот катафалк? В самом начале.

— Случайно. Что-то в нем не понравилось, показалось необычным. Я расследовал как раз то дело с крематорием. А потом решил на всякий случай узнать, в чем дело.

— И потом, — заговорил второй, — студия какая-то странная...

— Это центральная студия страны, — меланхолично заметил шеф.

— Я понимаю, но там как-то все необычно...

— Необычно, странно, — шеф неожиданно резко выпрямился в кресле. — Раз туда они сами вас пустили, то меня это все не касается. Но в другой раз я вам не советую околачиваться возле киностудии. Не советую, — с ударением произнес он и, сделав паузу, сказал уже совсем по-другому. — А сейчас можете отдыхать. Жарко сегодня очень...

Оба инспектора встали.

— ...Впрочем, — шеф скрылся за густым синим клубом дыма, — ненавязчиво, издали последите... Ненавязчиво...

x x x

Шел шестой час вечера. Город от удушья, казалось, потерял сознание. И в бреду без остановки грохотал своим шершавым, высохшим бетоном. Все яростнее визжали тормоза тысяч автомобилей, и все меньше оставалось глотков чистого кислорода в умирающем, размякшем лабиринте...

Люди уже давно все делали молча, автоматически. Как в бреду, втискивались в транспорт и, почти теряя сознание, прижимались к потным, горячим, чужим телам своим таким же потно-горячим, липким телом. И с гулом, безостановочно все катилась и катилась раскаленная, душная, распаренная жизнь в шестом часу безумного августовского дня...

Оба сотрудника медленно шли, выбирая тенистые переулки. Одного из них в самом деле звали Васей, Василием Петровичем. Другого звали Андрей Петрович. Кровными братьями они, несмотря на одинаковые отчества, не были. Но в остальном очень походили друг на друга.

Переулки кружили прихотливо, незаметно сворачивали, разбегались надвое, натрое, и причудливая их паутина запутывала прохожего... И где-то в этой липкой паутине душных улочек таилась беда. Не доверяйте этим бесконечным московским переулкам. И если с вами ничего не случится, то выведут они вас в такое место, что и сам не поймешь, как же ты мог попасть сюда. Но зато в такой страшный, раскаленный день, как сегодня, в них хоть и душно, и липнет воротник рубашки к потной шее, а все же лучше, чем на просторных, прямых и широких улицах...

В такую сеть переулков и улочек и углубились наши двое знакомых.

РАЗГОВОР

— Ну и денек, — распаренно промычал Василий Петрович. — Самоубийство, а не погода...

Андрей Петрович вытер рукой пот со лба и мрачно вздохнул. Василий Петрович жил здесь, неподалеку, а ему еще добираться черт знает куда. "Поддохнуть легче, чем в такую даль ездить на работу", — угрюмо подумал он.

— Что ты сказал? — спросил его напарник.

— Ничего. А что?

— Вроде кто-то позвал меня...

— От такой жары свихнуться недолго. И ангелы запоют...

Они замолчали. Переулки бежали во все стороны, сплетаясь в сеть. Как птичек силками, город ловил свои жертвы...

— Ну я пошел, — Василий Петрович вяло махнул рукой.

Они постояли несколько секунд перед невысоким домиком, и второй, вздохнув тяжело, двинулся по переулку.

"Может, такси взять?" — подумал он, с трудом собирая мысли, растекающиеся в горячей, потной голове. Пошарил в кармане. Всего рубль. А надо два...

Город прел в изнеможении. Сомлев, застыли в беспомощности листья. Асфальт переулка мягко, как тесто, месился под ногой. И судорожно теперь катился вниз ослепший, безумный солнечный диск...

Андрей Петрович шел медленно, глядя себе под ноги. Сейчас поворот, потом другой... метро... Там двадцать минут автобусом... "Господи! — взмолился он вдруг, хотя и не верил ни в какого господина. — Господи! Спаси ты меня от всего этого!"

Тут он резко поднял голову и отшатнулся, выбросив вперед руку. Еще мгновение — и он изрядно стукнулся бы об автобус, тихо стоявший на обочине. Перед ним был катафалк. Тот самый. И номер тот же, и царапина, очень приметная, по жестяному боку.

Андрей Петрович стоял и собирался с мыслями. "Откуда он взялся здесь? Что за черт..."

Медленно он отошел и заглянул в окна. "Вроде сидит там кто-то? Неудобно как", — подумал он и опять чер-

тыхнулся. Потом подошел и, решительно открыв дверь, заглянул внутрь.

На железном рифленом полу стоял гроб. Темные закутаные фигуры, застыв, сидели на скамьях по обе стороны...

— А-а... — заорал у него над ухом голос. — Любопытствуешь? Хватай его!

Темные манекены ожили и кинулись на теряющего сознание Андрея Петровича...

х х х

Есть где разгуляться Случаю в городе-гиганте. Не то что в маленьких городках. Там все на виду. Все знают про всех и каждого. Негде развернуться Судьбе, и все течет ровно и тихо. И, может быть, написано кому на роду не так жить, но, видно, родился не в том месте. В маленьких городках судеб не бывает. А кто гонится за призрачным роком, тот уезжает. И, сойдя с поезда, самолета, попадает в каменные сети. Какая там теория вероятностей! Как написано на роду, так и случится.

Но кому в наше время интересна судьба отдельного человечка? Его и не видно среди миллионов других. Муравей он, и того хуже. Где он там в зарослях каменной плесени, раскинувшейся на десятки километров? Где? В наше время все массовое, и тут вероятность как раз и расцветает. И получается, что катастрофы происходят вроде чисто случайно. И от инфарктов гибнут так, как надо и как раз в нужной пропорции...

Заболел и помер Иванов Петр Сидорович! Не Сидоров Иван Петрович. Точно означенный номер. В ящик его и в крематорий. И рассказать некому, что вдруг почувствовал, что открылось неожиданно в последние минуты.

Некому и нечем...

А раскинули его кончину на тысячу, другую. Процент вывели, и получилось все закономерно. Статистика. Так и должно быть, и никакой Судьбы! Случай, случайно... Зыбок обманчивый песок из слов, ох, как зыбок!

А в узких пустынных переулках, в шумящей льющейся потоком толпе, в реве и тишине затаился Случай.

Настоящий, тот, что поджидает только вас, а не другого. Он воля города, он его прихоть.

Когда шеф вышел из здания и сел в машину, город напоминал больного, которому положили на лоб мокрое полотенце и он пришел вдруг в себя после хрипящего бреда. Только что горел, а тут вдруг стало познабливать, холодновато. Обманчивы августовские дни. Потянуло сырыми сквознячками из-под арок и проходных дворов, стоило побагровевшему от удушья светилу грузно провалиться под землю. Побежали цепочки огней.

Как китайские фонарики, вспыхивали трепетно окна домов и вместе с громадной бледной Луной в просвете медленно и недобро разгорались желтым. Цвет измены. Предательства. Берегись, прохожий! Лучше поспеши домой, запри дверь и дождись утра. При свете солнца все как-то проще, спокойнее. И нет этой знобкой тревоги неожиданно холодного августовского вечера...

Тревога возникла у него еще на работе. А теперь выросла настолько, что невольно шеф стал искать причину. Нет, город его не пугал. Он привык к нему, как привыкает охотник к лесу и ко всем его обитателям. И не пугал его Случай, притаившийся где-то на дороге у каждого. Машина ровно и мягко всхрапывала и, как в темном омуте, сияли огни, отражаясь в черных стеклах встречных автомобилей... С грохотом втянул его тоннель и выбросил с противоположного конца.

Он вдруг осознал причину тревоги. Одиночество. Начиная очередной припадок одиночества. И первыми всегда приходили тревога и беспричинное томление. Где-то в глубине, бессознательно, он бесконечно хотел встречи, любви или хотя бы участия. И так же бессознательно он вытеснял это желание, как опасное, невозможное, недостижимое... Желание, из которого ничего хорошего не может выйти. И от этого вытеснения возникала тревога, предчувствия... Но почему недостижимого? Почему хоро-

шего не может выйти? Или нет вечной и верной, с первого взгляда любви на белом свете?

Он резко надавил на газ. Автомобиль рванулся. Теперь огни в черных, стремительно летящих мимо лужах-стеклах безжалостно хлестали его по глазам...

"На что ты еще надеешься? — шевельнулась мысль. — Поздно. Любить самому — как трудно это, больно теперь. Щедлость души порастерялась в ящиках-годах... Все тяжелее груз. Горечь, утраты, обманутые надежды... Все выше требования к любимой, претензии... С ними все и кончается... Неужели любовь одно из заблуждений лишь юности? А после — ты мне, а я тебе... Я тебе деньги — ты любовь. Я тебе ласку — ты мне уют и ужин. Я тебе любовь — ты мне заботу обо мне..."

Он резко затормозил. Пешеходы, волнуясь, спешили через дорогу. Смутные, смазанные лица... Город жил. Судорожно вздрагивал рекламным светом. Швырял в лицо новичкам снопы огня и одновременно, не моргая, глядел и глядел. Из-за закрытых занавесок, штор просвечивали желтые глаза...

Зеленый! Рванулся и, заревев, покатился асфальт по резине. Резина по асфальту... Рвут колеса шершавую кожу уже затвердевшего после дня, но еще теплого тела города...

"Тело, — подумал он. — Оно еще живет. — Но тут же возразил себе: — Ведь не нужно тебе чужое тело просто так... Нет, и возраст не тот... Хочется обнять того, кто любит. Кого любишь сам. Любви мне, — горько подумал он. — Яду мне, яду..."

Вот и его окраина. Пустовато после центра. Лишь изредка навстречу скользнет зеленый огонек или нагло упрется двумя яркими зрачками грузовик. И снова темно и пусто. И одинокие горят фонари, высвечивая черноту... Ночь и тайна. И томление. И прямо в глаза глядит Луна, и завораживает, чуть звенит странным звуком желтый свет — прозрачная кисея, натянутая в ночи над черными, прямоугольными домами...

Он долго глядел на круглое желтое отверстие в черно-

те. Приветливо и насмешливо помаргивали синие огоньки на темной мантии ночи. Кто вырезал дыру в тайне и подсветил ее с той стороны желтым, ровным светом? Ночь, и тайна, и Город, и... одиночество.

Он вздохнул и не спеша вошел в подъезд.

На двери белела записка. "Буду в одиннадцать". Сердце остановилось на мгновение, будто ожидая ответа. Но никто не отозвался. Тогда он открыл дверь и вошел. Иступленно верещал телефон.

— Алло, — он поднял трубку.

— 135-81-12? — прозвенел металлом голос телефонистки.

— Да.

— Говорите, — и туго натянутая сталь уступила место сочному, даже жирному басу его старого приятеля.

— Алло, — заорала трубка, — не могу дозвониться. Старик! Привет тебе. Как жизнь? Тоскуешь? Одинок? Я, чтобы ты не скучал, прислал тебе свою племянницу, Аннушку, помнишь ее? Она поступать в институт должна. Приюти. Да смотри, я у нее за отца. А она красивая. Но, если что, — женись, не возражаю, ха-ха-ха, ха-ха...

Он давно держал трубку сантиметрах в двадцати от уха. "Аннушка выросла. Та забавная девчушка...". Помнил он, отлично помнил ее. Тогда она, кажется, даже влюбилась в него. Двенадцать лет. И они повсюду гуляли вместе назло дебелим, изнывающим от тоски местным красавицам. Отец? Третий в их троице друзей — он умер... Остались они двое, и звонившему выпало взять Аннушку к себе. Все-таки ему она была родной племянницей...

— Ты меня слушаешь? — громко вопила трубка. — Слышишь?

— Слышу, слышу. Ты не ори так громко, а то мне приходится уходить от трубки в соседнюю комнату, чтобы сохранить перепонки. Это ее записка у меня на двери?

— Ее, ее. Не могу дозвониться, — радостно совсем завопила трубка, — ты будь с ней ласковым и помоги, понял? Ну пока, обнимаю. Приеду через пару месяцев.

— Приезжай, хотя и орешь ты, как недорезанный бо-

ров, все равно я соскучился по тебе. Ну будь здоров... — он опустил трубку...

— Здравствуйте, дядя Иван, — произнес позади него нежный голос.

Он обернулся.

— Аннушка...

Перед ним стояло стройное юное существо с огромными, тревожными и одновременно радостно распахнутыми глазами. Зрачки огромные, темные... Он нежно обнял ее за худенькие плечики.

— Аннушка, как ты хорошо приехала. Только что звонил твой дядя... Как я рад тебя видеть. Ты меня-то помнишь?

— И я рада. Я вас всегда помнила... — прошептала она и вдруг смутилась...

— Ты ела, голодна? Пойди прими ванну... — он засуетился радостно. Сердце опять стукнуло и, не дожидаясь ответа, сладко заныло. "Ты что? — грубо спросил он себя. — Старый дурак..."

— Дядя Ваня! — позвала она: — А где у вас спички? Я привезла всяких вкусностей. Это меня Тотош нагрузил. Сказал, что вы обжора и очень это любите.

— Обжора он сам, Аннушка. — Иван Александрович улыбался, радовался откровенно, и в ответ все еще чуть тревожно, но так же радостно и очень нежно блестя улыбка девушки.

— Где же твои вещи?

— Я их сдала в камеру хранения. А вкусности вот тут, в сумке.

— Сейчас еще половина одиннадцатого. Поехали за вещами, чтобы завтра не возиться. Поехали? Или ты очень устала?

— Нет, я с радостью. Это вы устали. Я вижу...

— Нет, Аннушка, это не сегодня... — и в ответ на взлетевшие, как две большие птицы, темные брови добавил: — Это не сегодняшняя усталость.

— У вас жуть как много работы. Это Тотош мне гово-

рил, — затараторила она деловым, сострадательным голосом...

— Поехали. Бог с ней, с моей работой. Куда ты собираешься поступать?

— В театральный, — она впорхнула в лифт.

— В театральный? — он нахмурился.

— Вам не нравится, дядя Иван? — и тут же ласковой скороговоркой проговорила: — А знаете, как я вас называла в то время, когда вы у нас жили?

— А ты помнишь, как я у вас жил?

— Конечно, помню, — она захохотала и как серебряные монетки, зазвенев, покатались по полу. — А звала я вас тогда Пупушем...

У нее получилось Пуушем. Она выбежала во двор.

— Слушай, — спросил он догоняя, — а почему ты меня так прозвала?

— А вы, — она смутилась... — вы очень чем-то были похожи на моего любимого кота, помните?

Он рассмеялся. Кот был огромный, сибирский, очень важный и ленивый.

— Вы не сердитесь? Ой, какой автомобиль! И это ваш?

— Что ты, Аннушка, я на тебя не могу сердиться. Ведь мы с тобой друзья, правда?

— Правда, — радостно крикнула она и подпрыгнула на сиденье.

Заурчал ласково мотор. Мягкие четыре лапы оттолкнулись от еще чуть теплого камня, и полетел счастливый Иван Александрович со своей Аннушкой по темной тихой улице. Звезды многозначительно перемигивались вверху над ними, и, казалось, даже луна округлилась, подобрела и потеплела. И свет не так напряженно дрожал, ласковой укутывал замершую землю.

х х х

На следующий день Иван Александрович ехал на работу в удивительно приподнятом настроении. Город был бодр и свеж, весь в брызгах яркого, чистого солнца. Го-

лубизна с синевой резали глаз. Бодрящий утренний холодок бежал по улицам, проскальзывал прохожим под рубашки и неожиданно хватал их ледком. Ууффф... хорошо! И даже синее облачко паров позади присевших на задние колеса, храпящих машин казалось не ядовитой гарью, а милым сердцу бензиновым дымком. Хорошо было этим утром. Иван Александрович лихо подкатил к подъезду дома — громады, четко врезанной в синеву. Ловко выпрыгнул и, звонко клацнув дверцей, взбежал по ступеням.

Часовой у входа вздрогнул и вытянулся.

Лифт, чуть гудя, легко вознес его, и вот он уже в своем просторном кабинете. С треском поднял шторы, распахнул окно, и полилась в комнату густая, чистая утренняя свежесть...

— Доброе утро, шеф, — сказал за его спиной голос.

Иван Александрович обернулся. Перед ним стоял его помощник, сутулый Василий Петрович. Сейчас он как-то особенно горбился.

— Что-нибудь уже случилось? — спросил шеф.

— Да, — тут шеф заметил, что Василий Петрович бледен и угрюм. — Исчез Андрей. Только что звонила его жена. Дома его не было. Не звонил. И на работу не пришел. Я сразу позвонил в морг — там его нет, слава Богу. В больницах тоже нет...

— Вы, наверное, вчера после работы пивком побаловались? — спросил Иван Александрович. Нет, даже предполагаемое исчезновение его второго помощника не могло заслонить брызги солнца у него в душе, испортить настроение...

— Мы расстались возле моего дома. Он ехал прямо к себе домой. Шеф, у меня какое-то предчувствие, что это не просто так. С ним что-то случилось. Сердцем чую...

— Бросьте, — Иван Александрович нахмурился. — Через полчаса наверняка будет.

— А если не будет?

— Ну, — тут до счастливого шефа дошло, что в мире еще осталось несчастье.

Тень набежала на солнце, и в кабинете потемнело. — Тогда объявите розыск.

Облачко скользнуло в сторону, и снова брызнуло во все стороны чистое, яркое, небесное золото. Но с души Ивана Александровича тень не сбежала. Его вдруг тоже стало томить неизвестно откуда взявшееся предчувствие. Беспокойство передается. И потом слишком долго он был шефом уголовного отдела и теперь, как собака, нюхом животного ощутил, что неспроста возникла тревога. Что-то должно было случиться или... уже случилось...

— Идите. Руководить поиском будете сами, — резко приказал он, и Василий Петрович быстро вышел из кабинета.

В этом учреждении все делали быстро и четко. Искали преступников, охраняли наш покой. Настороженно и чутко следила каменная громада за всем в ночной тиши. И даже в брызгах яркого утреннего солнца не проходила эта чуткая настороженность. Дом напоминал, как, впрочем, и вся служба, гигантского прирученного зверя, готового в любой момент рвануться и каменной твердой лапой закона смахнуть преступника...

И сейчас зверь напрягся, подобрался. Тысячи его стальных жил, уходящих в город, зазвенели тревожно и требовательно. Где? Найти! Всем, всем постам! Куда мог подеваться человек?!

В самом деле, куда? В большом городе, взрослый, сильный мужчина, с оружием, тренированный на то, чтобы нападать, хватать преступников... И вдруг пропал?!

Иван Александрович про себя поразился неожиданной мысли. Машинально отвечал на звонки, что-то подписывал, а сам неотступно думал об одном: а куда вообще может подеваться вдруг человек? Думал он об этом и раньше, и много раз, но как-то не так. Сейчас этот вопрос казался ему очень важным. Будто вся жизнь его по непонятным причинам сосредоточилась в одном том, чтобы понять — а куда исчезнуть мог человек в большом городе? И чем дольше он думал, тем все мрачнее становилось у него на душе, все томительнее. И яркие брызги солнца

теперь не радовали, а казались неуместными, наглыми, лезущими в глаза лучиками. Небо резало глаз, раздражало.

Он резко опустил полупрозрачную штору, и в кабинете поселился мягкий полумрак. Иван Александрович облегченно вздохнул и откинулся в рабочем кресле. Потом наклонился, взял из ящичка сигарету и закурил. Дымок теплыми струйками пополз по щекам.

"Несчастный случай? Исключено. После несчастного случая попадают либо в морг, либо в больницу, либо в милицию и... иногда еще домой. Ни в одно из этих мест Андрей Петрович не попал. А остаться лежать просто так на панели, если тебя сбил автомобиль или упал кирпич на голову, — невозможно. Тут же подберут, позовут милиционера... Не из сердобольности, скорее, из любопытства, но позовут. Люди очень любопытны, и это сильно помогает в работе..." — так думал Иван Александрович.

"Ну, а если его убили? Какая-нибудь шпана, а потом труп спрятали. Куда? Да в любой люк канализации. Надо, чтобы люк оказался рядом. Потом тащить на глазах у всех... Да и люк без ломика, или топора, или двух ломиков — никак не откроешь. Нет, вряд ли попал его помощник в канализацию. Впрочем, все люки на его пути через час проверят..." А потом не мог допустить Иван Александрович, чтобы так просто, как овцу, могли укокошить его помощника. И оружие у него всегда с собой. Нет, это невероятно.

Сам сбежал? Но куда и зачем? Или были враги?

"Или, — тут Иван Александрович неожиданно вспотел от очень неприятной мысли. — Или какое-нибудь темное место в биографии? Но ведь вроде все тысячу раз проверено...". И тут ему показалось, что в кабинете потемнело, так сумрачно стало на душе у Ивана Александровича от этой мысли.

"А что, если недоглядели? И скрыл пропавший кусочек своей жизни? Тогда и мог он исчезнуть. Вернее, его могли попросту убрать. За что?"

"А, черт!" — он поднял трубку.

— Иван Александрович, — спросила трубка голосом его начальника. — Мне тут позвонили сверху... — трубка многозначительно помолчала. — Ваши сотрудники пытались проникнуть на киностудию. Вы что, забыли, что туда запрещено просто так вот вламываться? — начальственные басовитые нотки катались, как желваки под кожей. — У них сейчас перестройка, и чтобы больше этого не было. Позвоните мне сначала. Что их туда понесло?

— Катафалк хотели найти.

— Какой еще, к дьяволу, катафалк?

— Со студии катафалк, очень странно себя вел.

Тут трубка, кажется, захлебнулась от возмущения и, прорывав нечленораздельное ругательство, отрывисто клацнула. И тут же коротко запело в ней: пип, пип, пип... занят, занят, занят...

— Ой, Иван Александрович, что же это у вас так темно? — пропело воркующее, грудное контральто секретарши.

Иван Александрович не спеша опустил трубку и поглядел на пышную яркую блондинку перед ним. "Очень аппетитна, или, как теперь говорят: сексапильна", — подумал он, и где-то внизу спины заныло сладко.

— Что у вас?

Блондинка ловко обогнула крутым бедром стол и, встав с ним рядом, положила на стол ворох папок с надписью: "ДЕЛО".

"...И запах от нее, как от спелого яблока... Какая она вся чистая, вымытая и хрустящая. Понимаю садистов, — думал про себя шеф, — так и хочется такой сделать больно..."

Блондинка на мгновение прижалась бедром. Он не выдержал и, обняв ее рукой, потянул к себе. Она, казалось, только этого и ждала:

— Ой, Иван Александрович, пустите, что вы делаете? Вдруг кто зайдет, — горячо зашептала она и тут же на глазах стала таять, прижимаясь к его руке.

Зазвонил телефон.

Блондинка, как толстая рыжая кошка, фыркнув, отскочила и, крутнув хвостом, сгнула...

"Ну вот, сколько ни сдерживался, а все равно начал свою секретаршу обнимать. Почему у нее нет мужа?" — подумал он и снял трубку. Ох, как стукнуло сердце.

— Алло, дядя Ваня, это я. Вы заняты, наверно...

Аннушка. Вот отчего так сладко ныла спина. Образ рыжей яркой блондинки тут же потускнел, увял, и превратилась она в обыкновенную толстую дамочку сомнительной репутации...

— Аннушка, — так звучит грудной, ласковый рык влюбленного тигра, — Аннушка...

А она щебетала, и нежный ласковый голосок, казалось, саму мертвую пластмассу и сталь живил и делал теплее...

—...Ну пока. Не буду мешать вам. Не задерживайтесь...

Он медленно опустил трубку. И почувствовал на этот раз сладкую дрожь, даже боль в сердце. "Господи, старый идиот, неужели ты влюбился?!"

Рывком вскочил Иван Александрович из кресла и, подбежав к окну, рванул шторы.

Но, как об этом написал бы романист, "ликующий солнечный день не ворвался в кабинет". Непонятно и скоро погода переменялась. Быстро разбухая, раздирая в ключья края, неслись тучи. День стал серым и неуютным. И рядом с радостью и болью опять возникла тревога в душе у Ивана Александровича.

А в самом деле, куда же пропал его помощник?

х х х

Эта же мысль почему-то хватала за душу и Василия Петровича. И он ощущал сильную тревогу. "Неспроста, неспроста сгинул Андрей", — шептал голос внутри.

По совести говоря, сам Василий Петрович не очень огорчился. В сущности, жизнь полна превратностей и перемен. А для него это исчезновение было бы переменной к лучшему.

Он гнал, конечно, эту мысль, как человек порядочный, который на костях коллеги себе карьеру не делает. Но... что греха таить, мысль была справедливая: лучше будет

для него, если не найдут Андрея. Именно поэтому еще так тревожно было у него на сердце, и так яростно он делал все, чтобы найти Андрея Петровича. Чиста должна быть совесть, когда чужое несчастье в руку...

Вот место, где они расстались вчера. Рядом с Василием Петровичем гибко крутилась длинномордая, огромная ищейка с волчьим взглядом. Невысокого роста и неприглядной наружности человек держал ее на поводке и спокойно ждал приказаний.

— Здесь мы расстались, — сказал Василий Петрович. "Возьмет или не возьмет след?"

Человек сунул собаку носом в захваченные вещи Андрея Петровича. Шумно вдохнув его запах, собака закрутилась упруго и... взяла, повизгивая, потянула вперед, тычась носом в асфальт. "Хорошая собака", — почему-то с тоской и смутной злостью подумал Василий Петрович. Он недолюбливал ищейек вообще, а эту как-то сразу не взлюбил.

Они прошли метров сто, повернули круто направо, и тут еще шагов через пятьдесят собака остановилась и стала крутиться на одном месте повизгивая...

Не идет дальше, — сказал человек, — либо след тут обрывается, либо затерт...

Ищейка гибко металась.

"Дальше через квартал снова поворот, а там и метро. Там некуда исчезать", — так думал Василий Петрович, теперь уже просто с ненавистью глядя на елозившую псину.

— Спасибо, — сказал он вслух.

Человек пожал плечами.

— Наверно, в машину сел, — сказал он и, слегка потянув поводок, негромко скомандовал: — Пошли, Стикс.

И они двинулись назад к автомобилю.

Василий Петрович оглядывал дома вокруг. В ближайшем окне мелькнуло и пропало чье-то лицо. А через минуту на улицу выползла старуха и, опасливо косясь на него, остановилась поодаль.

— Что, бабушка, интересно? — задумчиво спросил Василий Петрович.

— Да, гляжу с собакой, украли чего или так? — охотно отозвалась старуха и, не в силах сдержать горевшее в ней пламя любопытства, подошла.

Ее глаза лихорадочно косили сразу во все стороны, и всем своим существом она жила в этот момент, потому что чувствовала какую-то жуткую тайну, вот здесь, прямо перед ее окном.

— Ты, бабушка, вчера вечером дома была? — снова ласково спросил Василий Петрович.

— Была, была, — закивала та, а глаза так и горели, дух захватывало.

— Часов в шесть-семь?

— Точно была, я еще с Дуськой, соседкой, разговаривала, а та как подхватится... "Ой, говорит, уже скоро семь" — и побежала...

— А не видела ли ты, бабуса, машины тут какой? — совсем ласково спросил Василий Петрович.

— Машины? — переспросила старуха. — Машины не видела, а катафалк тут стоял, автобус похоронный. Мы еще удивлялись с Дуськой, чего он стоит. Вроде все, слава Богу, живы еще, — старуха хихикнула.

— Куда он делся потом? — перебил он ее.

— А и уехал. Как раз около семи часов. Может, шофер приезжал к знакомым. Я с Дуськой распрощалась, потом глянула, а его уже нет... А что, миленок, может, случилось чего? — тут глаза у старухи так и впились в Василия Петровича. Желтое пламя горело в них, огонь неистребимого желания — узнать. Господи, вот и произошло наконец что-то. И совсем рядом. Жгучее, преступное, тайное. И взволновалась вялая старушечья кровь, загорелась. Жизнь началась, жизнь...

— Ничего не случилось, — неожиданно холодно отрезал Василий Петрович. Женщина так и сжалась. — Ничего, — еще раз сказал он, как отрубил, и быстро направился назад, к своей машине, оставив растерянную старуху на обочине.

Растерялась, и как будто ледяная рука схватила и заморозила загоревшийся огонек. Взяли и снова вытолкнули из жизни, из живой жизни событий. Старуха поджала губы от обиды и, подхватившись, помчалась рассказывать соседкам.

х х х

Темная, дикая мысль засела в голове у Василия Петровича.

— В крематорий, — коротко приказал он шоферу и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза... Дикая, темная мысль... Он вяло и тупо попробовал размышлять, но ничего не получилось.

Автомобиль привычно храпел и мчал, повизгивая резиной об асфальт на поворотах. Погода быстро портилась. Он открыл глаза, с тоской поглядел на небо.

"Какое солнце с утра было", — горестно подумал Василий Петрович. Так жалко ему почему-то стало солнца, и такая ненависть вдруг вспыхнула к этой злобной, рваной, в клочьях, темно-серой массе облаков, стремительно несшихся над городом.

Ветер окреп и теперь безжалостно рвал мирные киоски, пытался отодрать листы жести на крышах старых домов. Жалобно, покорно трепеща, стремительно наклонялись и летели в одну сторону ветви и листья на деревьях. Шумели, потом выпрямлялись на секунду и снова бросались, припадали к земле.

Вспыхнула у Василия Петровича ко всему этому бесчинству ненависть и угасла. Он снова закрыл глаза.

— Здесь не проедем, — донесся до него голос шофера. Дорога перекопана.

— Давай через Смирновскую...

— ... Что, не проехать? — разбитной парень в спецкуртке подошел к машине. — Вам-то что, а вот вчера катафалки не могли проехать — это да. Нет пути в Рай, перекопало Трансуправление, — и, довольный остроотой, он захо-

хотал. — Поезжайте через двор, — он махнул рукой, — там есть выезд...

Перед массивной решеткой ворот крематория было пусто. Деревья волновались. Плавно и гибко ветви с талящими листочками металсь из стороны в сторону. Сорванные листья прилипали к асфальту и, противясь мягкой упругой силе, крепко прижимались к шероховатому теплому камню. Все летело стремительно, тщетно пытаясь удержаться, зацепиться за что-нибудь в этом шумящем полете...

Василий Петрович вошел в калитку рядом с воротами и по асфальтированной дорожке направился к величественному зданию. Из трубы вырвались и стремительно закрутились на ветру черные, жирные клубы дыма. Доносились звуки органа. Под шумящими деревьями застыли могилки. Памятники на них спокойно и молча провожали глазами Василия Петровича.

Дым в вышине покрутился, свиваясь в темные кольца, стал редеть, превратился в прозрачную гарь и исчез.

Он ступил в круглую залу с высоким куполом. Слева виднелся стол, обтянутый черным крепом. Прямо, за бархатной толстой веревкой, как в магазине, с крючком — четырехугольное продолговатое приспособление для гроба.

На первом столе-постаменте панихиду служат. На второй ставят гроб, чтобы навечно расстаться. Впереди всю стену занимал орган...

"Юдоль печали и забвения", — подумал Василий Петрович, посмотрев на все это, и свернул в боковую комнату.

Служитель мрачно взглянул на него, как тот вошел, и вместо ответа на приветствие заявил:

— Все, товарищ, все. Больше на завтра заявок не принимаем. Только на послезавтра и то во второй половине дня...

Василий Петрович неторопливо достал удостоверение и молча поднес его к самым глазам служителя мрачного дома. Тот разом просветлел и стал ласковым. На лице его,

казалось, повис плакатик с рождественской надписью: "Что угодно вам, сударь?"

— Кто работал у вас вчера после шести вечера?

— Я, — плакатик тревожно колыхнулся и снова приветственно замер.

— Скольких вы... — Василий Петрович замялся, —... похоронили?

— Когда, после шести? — спросил догадливый служитель.

— После шести.

— Троиш, — служитель сдернул плакатик с лица и ловко нацепил деловитую, чуть скорбную маску. — Две женщины. Одна молоденькая, — он вздохнул, но, не увидев интереса в глазах у гостя, заторопился. — И мужчина.

— Как фамилия мужчины?

— Одну минуточку, сейчас посмотрю, — и заскоружлые страницы амбарной книги полетели под такими же заскоружлыми пальцами. — Сордин Иван Александрович, 1905 года рождения...

— Что?! — выдохнул Василий Петрович.

Служитель сделал стойку и замер. Его собеседник быстро выдернул из кармана небольшую фотографию Андрея.

— Этот?!

— Не могу сказать, — отчеканил служитель. — Хоронили не открывая. Так пожелали родственники.

— Родственники, — злобно пробасил Василий Петрович. — Родственники! — задохнулся он.

Служитель спал с лица.

— Сколько было родственников?

— Восемь человек и девятый распорядился.

— Толстый человек, шумел все?

— Так точно, — почему-то по-военному отрапортовал служитель.

— А не показалось что-нибудь странным тебе в них, а? — Василий Петрович почему-то перешел на "ты".

— Никак нет, — опять отрубил служитель и как будто щелкнул чем-то, стремительно вытянувшись.

— Пьян был, наверно! — рявкнул Василий Петрович. Тут служитель обиделся и даже рассвирепел.

— Это почему же обижаете? Я ведь тоже на работе. Какое такое право у вас меня оскорблять?..

— Ладно, там разберемся, — пообещал Василий Петрович и так грозно на него глянул, что тот разом умолк и весь подобрался.

— Как фамилия?

— Чья, моя? — служитель забеспокоился не на шутку.

— Это зачем? Я не виноват. Мое дело хоронить, а бумаги все в порядке, я-то причём здесь?

— Ни при чём. Можешь понадобиться.

— Сурдинкин Нил Нилыч.

— Сурдинкин, — промычал Василий Петрович. — Ну, до свидания, Сардинкин. Понадобитесь, — вдруг перешел он снова на "вы", — вызовем.

Дверь хлопнула за ним. В голове у служителя, как тучка мошки, роились, вились мысли самые разные. Он отмахивался от назойливых насекомых, но они не отставали... Глухо зарокотало и покатилося гулами во все стороны.

За то время, пока они говорили, собралась гроза. Огромная брюхатая туча, тяжело вздыхая, ползла над землей. Город замер, приготовился, напрягся, готовый обнять, сжать страшную темную толстую в своих шершавых, каменных руках и слиться с ней в шумном ливне и грохоте огненных колесниц...

И такой же мрачный, как эта туча, ехал Василий Петрович. С ненавистью глядел он на приготовления к разгулу и бесчинствам. Первые капли бесстыдно и сочно пролились на стекло. Небо отворилось огненно и жарко, и страстно захрипела, с треском распарывая на себе черное платье, огромная туча в объятиях бетонного исполина.

х х х

Иван Александрович стоял у окна и внимательно смот-

рел, как струится и хлещет вода по стеклу, когда вошел Василий Петрович.

— Ну, как идут поиски? — не поворачиваясь, спросил он у помощника.

— Я из крематория, шеф.

— В такую погоду только по крематориям и разъезжать. Что-то вы зачастили туда, — Иван Александрович повернулся. — Опять видели тот же катафалк?

— Нет, не видел, но дело тут совсем в другом...

— В чем?

— Вчера, после шести вечера, похоронили, не открывая гроб, только одного мужчину.

— Кого?

— Вас, — Василий Петрович теперь прямо глядел в глаза шефу.

— Гм-м... — промычал шеф и отвел глаза. — Значит, буду долго жить, — сказал он. — Вы думаете, это был Андрей?

— Да!

— Кто хоронил?

— Родственники. На том самом катафалке, — совсем мрачно и как-то обреченно зло произнес Василий Петрович.

Они замолчали. Опять распорол огненным ножом небо и покатилося к горизонту гулами, сметая все на пути.

— С киностудии? — наконец спросил шеф.

— С киностудии, — тихо ответил помощник.

И снова тишина втиснулась между ними. На этот раз молчание длилось долго. Иван Александрович, отвернувшись, смотрел в окно на льющуюся по стеклу воду. Василий Петрович неловко переминался.

— Что ж, спасибо, вы свободны, — донеслось до него от окна.

— А что будем делать?

— Звонить, — Иван Александрович обернулся к нему.

— На киностудию. Я вас позову.

Помощник вышел. А Иван Александрович, постояв

еще у окна, наконец медленно отошел от него. Сел за стол. И, подняв трубку, стал набирать номер.

За окном косо и тяжело летела стена дождя. Мостовые кипели. Капли с сильным дробным стуком грохотали по стеклу. Тра-та-та-та-та... раздавалась короткая очередь. Это ветер мятущийся нервно барабанит скользкими пальцами...

— ...Вы что, с ума сошли? — грозно прорычала трубка.
— Да мне голову снесут, если я сунусь с такой просьбой...

— Если мы не попадем на студию, то расследование вести дальше бессмысленно. Его "похоронили" люди с киностудии...

— Знаете, дорогой Иван Александрович, вы слишком пристрастны к миру. Что значит похоронили? У вас есть доказательства, улики? Ведь неизвестно, кого похоронили. Вы сами сказали, что похоронили на самом деле вас, ха-ха-ха... Мне, думаете, нравится, когда пропадают мои сотрудники? Но с киностудией особый счет. Она сверхсекретна. Понимаете? Да вы же знаете все сами, а тратите мое время...

— Кто разрешает вход?

— Черт его знает. Кто-то в самом верху. Но ведь у них ни черта не разберешь. Правая рука не знает, что делает левая... А какова ваша версия всего этого дела? Вы же толком ничего не рассказали.

— Думаю, что мой помощник узнал, либо знал лишнее, от чего кому-то могло нездоровиться. Его решили убрать. И убрали. Довольно издевательским в наш адрес способом. Вопрос здесь заключается в том, кто это может себе позволить сейчас? Это ведь не какая-то шпана...

— Вы думаете, он знал что-нибудь о ком-то с киностудии?

— Да.

Трубка замолкла. Тра-та-та-та пробарабанил нервно дождь по стеклу, и шумно, порывисто вздохнуло за окном.

— Я подумую, — вдруг сказала трубка и стихла.

Иван Александрович поглядел на часы. Четыре часа дня. А за окном густой вечер, темный, мечущийся мрак... Мда. В дверь неслышно вошла секретарша.

— Иван Александрович, — мяукнула она низким голосом, — такая жуть на улице. Вы не подвезете меня?..

"Кошка, — подумал шеф. — Пантера. Ишь глаза какие... так и светятся".

За окном вновь расколосось все, и трещина ослепительно засияла. У секретарши волосы встали дыбом, и явственно слышал Иван Александрович, как она нервно фыркнула, сузив острые зрачки... Края трещины с грохотом сошлись...

— Конечно, подвезу, — сказал Иван Александрович не принужденно.

Она благодарно изогнула спину и, зажмурив чуть глаза, ласково мурлыкнула:

— Спасибо. А я так боялась, — качнув бедрами, вышла на неслышных мягких лапах.

"О Боже", — мысленно вдруг застонал шеф и понял, что ему очень хочется погладить эту ручную толстую кошку...

х х х

К вечеру стало холодно. Тучи не разошлись. Наоборот, они теперь плотно укутали город, легли на него тяжелым, сырым, толстым войлоком. И безрадостно повисла в воздухе мелкая пронизывающая морось. Ветер почти стих. Только иногда еще вдруг вздыхал город, и холодный воздух катился, обдавая вас пронзительно и мокро.

Сегодня раньше обычного зажглись фонари. Люди черным, смазанным месивом текли ручейками во все стороны. Истерично визжали тормоза. Автомобили всхрапывали и с шумом, расплескивая воду, бежали, отражаясь в ней. Мчались по темным мостовым, теперь напоминавшим реки, где в черной, тусклой воде горят огни.

Погодка была нерадостная. Холодно, сыро, неуютно. Невысокий, пожилой человек, казалось, хотел сам в

себя втиснуться, так, видно, были ему зябко в легком старом плаще.

Это был служитель из крематория. Он торопился, спешил, подталкиваемый ясным, сильным желанием. Как мотылек, летел он на невидимый свет. Летел, чтобы еще раз стало тепло и разлилась по жилам горячая слабость. Зашумела, постукивая, кровь в голове, стала жидкой, быстрой, и, подхваченные алой, горячей волной, взлетели мысли и растворились. И стало на душе покойно, уютно... Одним словом, спешил служитель в забегаловку. Не путайте с рестораном, кафе... Совсем это не то.

Спустился в низкий, дымный, душный подвальный. "Винный автомат" гласит проржавевшая местами вывеска. Металлический жетончик — и вот уже полилась струйка мутноватой, цвета испитого чая жидкости к тебе в стакан. Дешево и сердито... Да разве в этой струйке дело...

Отстойники человеческих эмоций. Город был предусмотрителен. Они его когда-то построили, они могли и разрушить. И быстро, ловко гигантский паук плел из каменной паутины узелки, тысячи узелков, коконов, в которых, вялые от горячей, мокрой духоты, ползали темные фигурки и жужжали предсмертно. Томно жужжали. О чем только ни жужжали...

Но это вечером, особенно таким холодным и сырым. А днем, с утра здесь все по-иному. Молчаливые фигуры в длинной очереди. Ни слова. Тишина. Автоматы рыгают дешевым портвейном. И озлобленные, с трудом держащие озноб хомосапиенсы — быстро пьют. Молча, чтобы подхлестнуть себя и снова, который день, схватиться с каменным пауком. Пройти, не страшась, по его ревушим, как канаты под ветром, бетонным паутинам. И не задохнуться, не ошалеть в чаду и грохоте гигантского лабиринта, растянутого по земле, в котором мечется безжалостное каменное чудище, высасывая у жертв свои мысли, душу...

Стоп! Служитель попался. Вот он нырнул по скользким ступенькам вниз, толкнул дверь. Готово! Дверь захлоп-

нулась. Он — внутри. Еще не понял, что с ним, но вот-вот поймет и зажужжит в липкой паутине...

— ...Да, на твоей работенке, Нил Нилыч, не соскучишься, — приятель открыл рот с редкими, через один, гнилыми зубами и захохотал. — Душевная у тебя работа. Успокаиваешь души. Тело горит, а душа к солнышку...

— Гори, гори ясноооо... — заревел пароходным гудком кто-то рядом и захлебнулся.

— Я не жгу, — пробормотал служитель, вдумчиво сопя над кусочком рыбки. — Автоматика все делает.

— Я и говорю, — ласково зашлепали мокрые губы второго соседа. — Автоматика — это все! Скоро все будет автоматическим. Скажем, пережрал, нажал кнопку, а автомат блеванул за тебя...

— Паразит! — завизжало в углу. — Сволочь!!

Огромный верзила брезгливо, двумя пальцами вел за шиворот занюханую фигуру, напоминавшую грудку лохмотьев, от которой несло чем-то кислым и мочой. В углу еще повизжало и смолкло. Лохмотья выбросили на улицу. Дунул ветер, и оборвал паутину, и унес кокон с пустой, давно высосанной мухой.

— Ну, расскажи, Нил Нилыч, кого сегодня сжег, душегубец ты наш, — и полезли, потянулись, как лопух к спящему, мокрые, дряблые губы.

Служитель отодвинулся и, выплюнув косточку, вытер пальцы бумажкой.

— Еще по одному? Чего-то у меня, братцы, нервы рашалялись.

— Что, покойнички в огненных гробах прилетать стали? — спросил приятель и зазмеился улыбкой в тонких изгибах костистого лица. Гнилые редкие зубы его на мгновение выступили, как частокол в ночи.

Мокрые красные губы с другой стороны одобрительно зашлепали.

— Смеешься, — сказал служитель, — а иногда такая жуть возьмет. И тебя в ящик, как апельсины, забьют гвоздиками и под музыкальное сопровождение в эту пасть крематорскую. Кнопочку нажал — и поехал вниз.

Пшшш — и кучка пепла. Автоматика. Энергетика. А... где человек? Ведь был, был же человек?! — Нил Нилыч одним духом хватанул стакан.

Костистое лицо горестно обтянулось и закачалось из стороны в сторону. Губы второго соседа скорбно и дрябло повисли, как приспущенный флаг...

— Был! — решительно сказал служитель. — И нет! Как же так? Был чуть-чуть, а нет — навсегда... Навсегда тебя нет!! И птичек не будет, и не выпьешь, не вздохнешь воздухом... Как засвеченная пластинка — черно и себя не помнишь...

— Брось ты эту философию, — сказал костистый. — Живем пока, и слава Богу. Не торопись помирать, еще успеешь и поплакать над собой, и подумать... А пока живешь, чего отравлять себе жизнь раньше времени. Тогда с детства надо рвать на себе волосики, что станешь старым, и импотентом, и мама любить не будет, и вовсе ее не станет... А кто рвет, кто?

— Никто, — меланхолично шлепнули губы.

— Вчера привезли чудака и похоронили, — служитель впал в задумчивость и теперь говорил как будто про себя, внутрь глядел. — А сегодня пришел другой чудака и говорит: неправильно похоронили. То ли не того, то ли зря похоронили. Давай, говорит, крути обратно. А обратно — нельзя. Все. Под музыку в последний путь, и черным дымком к солнышку душа...

— Что такое душа? — прохрипело за соседним столиком: — Фикция. Неземное существование... А на кой нам... оно сдалось? Немати...терьяльность эта. Липа, обман и все. Смотри, говорят, Вася, понюхай, а пить не могли! — Голос еще похрипел, но уже неясно, и смолк. Запись кончилась.

— Душа... — губы мечтательно-сладко и радостно сложились. — Эх, иной раз так воспаришь, летишь, и хорошо. И боженька кивает. Лучики от солнышка. А оно, как пряник, висит... А наша жизнь, что в ней? Пьешь да разглагольствуешь...

— Да брось ты эти песни, — озлилось вдруг костистое

лицо. — Придешь выпить, как человек, так не дадут. Душа, — проблеял он злобно, передразнив губы. — Что ты, мокрая, дряблая образина, в ней понимаешь?

Губы обиженно повисли, но не возразили. Служитель снова опрокинул одним духом и заговорил, как бы продолжая.

— ... А мне и самому они не понравились. Этот толстенький все крутился, крутился, маячил. А родственники, правда, все в черном, вроде по высшей мере, а какие-то они, — он понизил голос до шепота и оглянулся, — ненатуральные были. Как куклы заводные. Жуть взяла...

— Меньше, Нилыч, пить с утра надо, — грустно сказали губы.

— Дурак, — обиделся служитель, — это вечером было.

— Я и говорю: меньше надо. А то до вечера так наберешься, что собственная жена стиральной машиной покажется...

— Гы, гы, гы... — загоготал костистый.

Служитель даже не улыбнулся.

Губы обиделись пуще прежнего.

— Не любите вы меня, не уважаете. И уйду я от вас...

— И катись, —добродушно звякнул костистый.

— И покачусь...

—И...

Жужжало в маленьком коконе. Тысячи отстойников для эмоций. Каменный паук стремительно, неслышный в ночи, наклонялся и припадал. И еще одну пустую, высосанную жертву уносил ветер. И еще ярче, ликуя, вспыхивали немигающие желтые глаза. И только вверху кто-то обманутый лил печальные слезы, тяжело вздыхая холодным мокрым ветром. Темная, жаркая толстуха давно превратилась в скорбную вдову, оплакивающую потери, себя. Страсть угасла. Город ее бросил, насытив себя, остыв и затвердев прохладными мускулами. Текла вниз, моросила безрадостная темная вода и, растекаясь, отражала в глубине огни... Летела жизнь по блестящим асфальтовым рекам. Отгородила себя стенками. Тепло в машине и уютно...

Иван Александрович ехал не спеша. Рядом лениво растянулась на сиденье большая, толстая рыжая кошка. Потрескивая, пробегало по ней электричество голубенькими огоньками, и оттого хотелось самому зажмуриться и, мурлыкнув, потереться о мягкую, бархатную шкуру... Да что говорить...

"Губят нас женщины", — думал Иван Александрович и тихо насвистывал себе под нос, довольный погibelью своей.

Дворники работали, неторопливо поскрипывая. Вправо-влево. Капли оплывали в ярких снопах встречного пламени. Бездумно катились глазастые, темные машины. Движение — значит, жизнь. И вспыхивали холодным огнем кошачьи глаза в ответ. Острые зрачки лениво щурились от пролетающего мимо света.

х х х

— Дядя Ваня? Я испугалась. Не случилось ли чего? И ждала вас. Я такой ужин приготовила, а все уже невкусное. Вам звонили...

Она стояла перед ним в пижамке. Стройная, тоненькая, с распахнутыми большими глазами. Горные озера, чуть зеленоватые, даже изумрудные и очень глубокие, прозрачные, чистые... Изящный тонкий нос над чуть пухлыми, мягко очерченными губами. И этот матовый, нежный овал в золотом водопаде...

"Какие тонкие у нее запястья и лодыжки, — подумал Иван Александрович. — А ручка сухая, горячая..."

— Кто звонил?

— Очень строгий человек. Спросил, кто я. Я сказала — племянница. Он удивился и велел сказать вам, что завтра в десять вы должны быть на киностудии. Что вы там будете делать, дядя Иван. Сниматься в фильме?

— Да, — задумчиво ответил он, — в детективном...

Не знал Иван Александрович, как близка к правде его шутка.

— Вы будете комиссаром полиции?

— Да.

— Как в жизни?

— Почти, как в жизни, — он усмехнулся. — Ну, где твой ужин? Приготовила, так корми...

— Ой, — радостно всплеснула она руками и помчалась на кухню.

А еще через полчаса...

— А где вы были, дядя Иван?

Он посмотрел на нее. И вдруг заняла душа опять. "Любит, люблю, Аннушка ты моя родная, Аннушка", — беззвучно закричало сердце.

— Что вы, дядя Иван, что с вами? — два изумруда засияли тревожно, а горячая ласковая ручка погладила его по щеке. Он неожиданно для себя схватил ее, поцеловал и прижал ко лбу ...

— Аннушка!

Она затихла. Чутко девичье сердце. Затихла и поняла. И не отнимала руки. Наоборот, другую, как будто машинально, опустила ему на голову, гладила волосы...

Он поднял лицо. Долго смотрел в бездонную, ясную глубину, потом встал, притянул ближе сияющие изумруды и нежно, ласково поцеловал мягкие, теплые, душистые губы...

Аннушка тихо застонала, вся загорелась, вспыхнула и убежала из кухни.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Киностудия затаилась в небольшом зеленом тупичке. С одной стороны ее полностью скрывал красавец небо-скреб. А с другой — телебашня, стройная, хотя и немного тяжеловатая. Старые деревья прижимались стволами, ветками к небольшому пятиэтажному строению, окончательно защищая его от любопытствующих глаз. Массивная, чугунная ограда вокруг завершала дело...

Дом стоял в небольшом парке. И когда Иван Александрович шел по красивой аллейке, ему пришлось в голову,

что вся секретность, отгороженность студии — это все потому, что так здесь хорошо. Шум, бензин, толкотня исчезли, стоило переступить чугунный порог.

Огромные деревья задумчиво роняли первые листья. Песчаная желтая дорожка красиво вилась меж толстых, очень выпуклых, рельефных стволов.

"Как хорошо тут", — подумал с тоской Иван Александрович...

— Да, у нас тут чудесно, чудесно, — жизнерадостно кричал толстый человек. Он кричал уже минут десять, не давая и рта открыться Ивану Александровичу.

Но тот все же протиснулся, в бурном потоке мелькнул его слова:

— ... Я хочу спросить вас...

— Весь к вашим услугам, весь, — и толстый человек неожиданно смолк и засиял радостной готовностью сделать для Ивана Александровича все...

— У нас исчез сотрудник. А на вашем катафалке, с киностудии, похоронили меня.

— Похоронили?! Вас? Ай-я-я-я... — заверещал он горестно.

— Судя по описанию, там и вы были?

— Я там был, — тут же деловито согласился толстячок. — Был и хоронил. Но, мой дорогой, — он сделал попытку пухлой ручкой обнять Ивана Александровича. — Мой дорогой коллега, мы все коллеги по жизни, — пояснял он. — Мда... Искусство требует жертв!

— Вы что убили нашего сотрудника и похоронили его под моей фамилией ради искусства?

Человек печально кивнул. Мол, да, еще раз да, а что же тут поделывать. Так надо. Иван Александрович почувствовал, как в нем заклокотала ярость. Но маленький шут, попрыгав по кабинету, как пухлый резиновый детский мяч, не дав ему опомниться, неожиданно с пафосом и надрывно заверещал:

— Да, да, да. Искусство требует жертв! Нам нужны не какие-то надуманные люди, их придуманные судьбы,

подделки под смерть! Нам не нужны суррогаты! Наша сила — в жизненности. У нас все без обмана, настоящее.

— Вы что?! — Иван Александрович медленно привстал с кресла. — Шутки со мной шутить...

Но пухлые ручки нежно толкнули его обратно, и толстый субъект мячиком снова запрыгал вокруг него.

— Вы не понимаете ничего. А я вам объясняю. Мы, — тут он величественно пнул себя кулачком в грудь, — новое искусство. Такого не было. Самое прогрессивное в мире! За все эпохи. Жизнь! — величественно взвизгнул он, закатив глаза. — Жизнь всегда была дойной коровой для искусства! Откуда вдохновение? Откуда фантазия?! Из жизни! И те, кто отрывался от ее сосцов, — погибали. Но даже сюжеты из жизни нас не спасли. Шекспировские страсти. Вообразите их в натуре, а! Актер? Что в нем?

— тут толстячок презрительно-согратательно поглядел на Ивана Александровича... — Нам оставалось сделать последний шаг. И мы его сделали! Мы стали брать не только сюжеты из жизни, реальные судьбы людей, но и актеров тоже. Актерами стали те, кто по-настоящему участвует, живет в выбранном нами сюжете! Одним словом, мы переносим на экран подлинные, настоящие куски жизни...

— И протестов не бывает? Все счастливы?

— Помилуйте, какое недовольство? Вы живете себе своей жизнью и одновременно становитесь знаменитым. Ваша жизнь, самое в ней лучшее, интересное, показывает миллиардам. Вы герой настоящего искусства! И никаких хлопот, длинной роли, зубрежки... Все естественно. У нас практически не бывает дублей...

— Как дублей? — вздрогнул Иван Александрович.

— Ну, — тут человек закрутился, стал носиться по кабинету и неожиданно пробормотал: — А ваш сотрудник — персонаж нашего фильма. Детективно-мистического, — пробормотал, и замолк, и облегченно плюхнулся в кресло.

В кабинете наступила тишина. Наконец застрявшее у

Ивана Александровича в голове поперек полено — выскользнуло, и он услышал свой голос:

— Вы убиваете, чтобы снять фильм?

Толстяк протестующе поднял руки:

— Что вы забубнили: убиваете, убиваете. Нет, конечно!

Я все вам объяснил. Наши сценарии просто пишутся сразу в виде готовых судеб отдельных людей, настоящих судеб. Вашего сотрудника убили, потому что должны были убить в его настоящей судьбе! Причем здесь мы? Так ему на роду было написано, — теперь голосок у толстенького человека стал раздраженно-сварливым. — А наше дело было лишь заснять все это. А убийство вы расследуйте. Это ваша забота...

Иван Александрович машинально кивал головой. У него, как во время резких спусков самолета, как будто уши закладывало и звуки пропадали.

— Да, да, — машинально кивал он, судорожно прислушиваясь к чему-то внутри.

В окне на белом, ровном фоне спокойного дня причудливо сплетались темные, выпуклые ветви деревьев. Ровный белый свет наполнял кабинет.

— А откуда вы узнали, что именно сегодня, скажем, его убьют? — наконец медленно проговорил он.

Тут толстяк даже подпрыгнул в кресле и горестно всплеснул ручками:

— Какой вы непонятливый! — закричал он тонко и противно. — Я ведь сказал вам. Сценарий — это кусок жизни. В нем все роли и персонажи — реальные судьбы реальных людей! Все настоящее! — завопил он и оборвал звук сердито.

Ивану Александровичу показалось, будто что-то тяжелое легло ему на шею и основание затылка. Он стал делать вращательные движения головой, пытаясь стряхнуть эту неприятную, сводящую с ума тяжесть. Но тут у него в голове вновь прояснилось, и просто, тихо он спросил:

— Что же, сценарий пишется заранее?

— Конечно, конечно. В этом-то все и дело. Это наша находка! — заорал облегченно-радостно человек.

Тут Иван Александрович окончательно понял, что он спит и видит сон. И вздохнул. Во сне все может быть. Он спросил непринужденно.

— Быть может, есть сценарий, в котором и я участвую? И вы?

— Есть, есть. Конечно, есть. Мы с вами в одном сценарии участвуем. И ваш померший сотрудник там же, — толстяк широко улыбался, жмурился от удовольствия. Ясно было, он счастлив играть в одном сценарии с вами... Он нас любит...

Иван Александрович тоже улыбнулся и легко вздохнул. Сон есть сон.

— И можно прочитать?

— Вам можно, — сказал пухленький человек, — так задумано в сюжете, что вы читаете о своей судьбе. Книгу судьбы, так сказать, ха-ха-ха... Вот! — заорал он. — Наш каждый сценарий — это книга судьбы для тех, кто в нем герои, — и залиvisto захохотал. — Это и есть главная находка! Какой ход!

— А кто их пишет? Сценарии?

Тут в кабинете все затихло, потому что толстяк сполз с сиденья и неожиданно мягко стал подкрадываться к окну. Бац!

— Убил, готово, — заорал он снова. — Комары, — пояснил он уже спокойно Ивану Александровичу. — Терпеть их не могу. У меня на них аллергия. Да, так о чем вы спрашивали?

Тут Ивану Александровичу в голову стукнула другая мысль.

— А она участвует?

— О, это ее первая роль. Ваша, впрочем, тоже.

Иван Александрович почувствовал, как сердце томительно напрягается. Какой странный сон. Он осторожно, стараясь делать это незаметно, крутил головой. Казалось ему, стоит освободиться от этой тяжести внизу затылка — и он проснется.

— Вы дьявол, — неожиданно для себя сказал он. — Но разве дьявол пишет судьбы? Где же Бог тогда? Или он покинул этот мир?

Толстяк обиженно поджал губы.

— Дьявол пишет сценарии, сценарии, мой дорогой, а не судьбы! Правда, — скромно добавил он, — прямо в виде судьбы, но это уже другое дело.

"Какое такое другое?" — хотелось спросить Ивану Александровичу, а потом взять и встряхнуть слегка этот жирненький круглый мячик. Он понимал, что спит, наяву киностудия вовсе не в таком здании помещалась, да и не помнил он такого места в городе вообще... и не мог проснуться. Господи!

— Так где сценарий? — грубо спросил он и зло, не таясь, в упор посмотрел на человечка. Тот вдруг затосковал, стал заламывать ручки и горестно выдохнул, весь слезясь от огорчения.

— Не дописан, не дописан еще. Вот в чем штука. Сценарист заболел...

— Врет, жирный поросенок, — с ненавистью подумал Иван Александрович.

Тут толстяк оживился вдруг...

— Ха-ха-ха, — захохотал он. — Все это пустяки, — и, неожиданно подбежав, хлопнул его по плечу. — Не берите вы себе это в голову. Ха-ха-ха... Завтра, завтра приходите и читаете...

— Нет, — не отступил Иван Александрович. — А то, что написано, где? — спросил он, глядя в пол. И не успел подумать или сказать еще что-нибудь, как тонкая папка шлепнулась перед ним на стол.

Иван Александрович поднял глаза. Никого. Толстый человечек смылся. "Ну и сволочь!" — подумал он о том от какого-то гадостного предчувствия.

Белый ровный день за окном спокойно лил свет. Сухо и пасмурно.

"Какой удивительный сон. Нет, торопиться я не буду. Такое не каждый день снится. Поглядим, что будет даль-

ше. А проснуться всегда успеешь", — так думал Иван Александрович, открывая папочку.

... Ровно и быстро бежала лента асфальта под резиновыми колесами катафалка. Гроб слегка покачивало... Рубчатая выпуклая резина бешено мяла асфальт... Солнце слепым раскаленным добела кругом повисло...

"Да это ведь позавчера так было", — подумал Иван Александрович и перевернул страницу.

... Глянь, сегодня не хоронят. Рай и Ад на ремонте, Вася...

...Такого нет катафалка в Москве.

...Как нет?

Глаза Ивана Александровича прыгали по строчкам, а сам он уже сидел в своем кресле, тогда, в позавчера. Отчетливо слышал свой голос: "Занимайтесь и докладывайте, но ненавязчиво, ненавязчиво последите..."

И где-то в этой липкой паутине душных улочек таилась беда... Город млеет в изнеможении... А-а-а-а...

Вздрыгнул Иван Александрович. Казалось, у него над ухом заорал неожиданный голос:

...Любопытствуешь? Хватай его, ребята!

...Спешите жить скорее. Не тот это огонь. Все ложь, никто вас не зовет огнем. Не близкая душа вам светит и зовет. Нет...

Алло! Старик? Привет тебе! Тоскуешь? Одинок? Я, чтобы не скучал ты, прислал тебе свою племянницу, Аннушку, помнишь ее?.. Да смотри, я у нее за отца. А она красивая. Но, если что — женись, не возражаю, ха-ха-ха...

...Здравствуйте, дядя Ваня... И я рада... Я вас всегда помнила... А вы, вы очень чем-то были похожи на нашего кота, помните?..

Он машинально перевернул страницу:

... Что-нибудь уже случилось?.. Да! Исчез Андрей... Небо резало глаз, раздражало. Он резко опустил штормовую... Несчастный случай? Исключено. Сам сбежал? Но куда и зачем? Или были враги? Какое-нибудь темное место в биографии? И что, если недоглядели? И скрыл пропавший кусочек жизни своей?.. А, черт!

...Ой, Иван Александрович, пустите, что вы делаете...

...Дядя Ваня, это я. Вы заняты, наверно?..

"Не был я занят, — подумал Иван Александрович, на мгновение отвлекаясь от страницы. — Какой странный сон. Обязательно расскажу Аннушке..." — Он снова забежал по строчкам:

... Господи, старый идиот, неужели ты влюбился?!..

Здесь мы расстались... Собака закрутилась упруго и... взяла, повизгивая, потянула вперед...

... Ты, бабушка, вчера вечером дома была?.. Катафалк тут стоял. А и уехал как раз около семи часов...

Неожиданно Иван Александрович понял все. Мерзкий человек, не обманул его. Самый удобный способ. Вам надо убрать кого-то. Отлично, давайте его похороним. Но могут раскопать, кости и прочее... А здесь — горсть золы и все. Гениально. Подделать свидетельство о смерти — пустяки. Да и кому придет в голову, что хоронят только что убитого, а может быть, и еще живого, в беспамятстве. Он вздрогнул от этой мысли. "Но кто это сделал? Киностудия? Их катафалк... Идиотский сон!"

Быстро перевернул страницу. "Пусть это все сон, воспользуемся. Может, там и правда написано, кто убил Андрея. Если его вообще убили", — шевельнулась вдруг мысль...

...Как фамилия мужчины?.. Одну минуточку... Сордин Иван Александрович. Что?!.. Гроб не открывали...

... Я из крематория, шеф. Вчера после шести похоронили, не открывая гроба, только одного мужчину. Кого? Вас!

... Вы что, с ума сошли?!.. Кошка... Конечно, подвезу... — Спасибо. А я так боялась...

... Да, на твоей работенке, Нил Нилыч, не соскучишься... Был и нет! Как же так? Был чуть-чуть. А нет — навсегда! И птичек не будет... Вчера привезли чудака и похоронили. А сегодня пришел другой чудака и говорит: неправильно похоронили. То ли не того, то ли зря похоронили. Давай, говорит, крути обратно! А обратно нельзя...

Тут Иван Александрович, как ему показалось, чуть

не проснулся. Все расплылось перед ним на мгновение. И папка, строчка, лист. А на лбу явственно он ощутил мелкие холодные капельки пота...

"Вот оно как", — почему-то подумал он. Но в этот же момент все опять стало резким...

...Душа ...Эх, иной раз так воспаришь. Летишь и хорошо...

Дядя Ваня? Я испугалась... Вы будете комиссаром полиции? Как в жизни?.. А где вы были, дядя Иван?

Он поднял лицо. Долго смотрел в бездонные, ясные глаза, потом потянул их ближе и нежно, ласково поцеловал мягкие, теплые, душистые губы...

... Да, у нас тут чудесно, чудесно...

Да, да! Искусство требует жертв! Наша сила в жизненности. У нас все без обмана, настоящее... Все естественное. У нас практически не бывает дублей...

Вы убиваете, чтобы снять по-настоящему?

Нет, конечно! Наши сценарии просто пишутся сразу в виде судеб, настоящих судеб тех, кто в них участвует, героев фильма... Вашего сотрудника убили... Так ему, значит, на роду было написано... А наше дело — заснять, и все. Само убийство — это ваша работа...

...А откуда вы знаете заранее, что, скажем, сегодня убьют?

... Я ведь сказал вам. Сценарий — это кусок жизни. В нем все роли и персонажи — это реальные судьбы реальных людей. Все настоящее...

... Что же, сценарии пишутся заранее?

... Конечно, конечно... В этом-то и все дело. Это наша находка.

И тут, на этом месте Иван Александрович точно, как несколько минут назад, понял, что он спит и видит сон...

...И есть сценарий, в котором и я участвую?

...Есть, есть ... Почитать? Вам можно...

А она участвует?

...О, это ее первая роль.

... Вы дьявол. Но разве дьявол пишет судьбы? Где же тогда Бог? Или он покинул этот мир?

... Дьявол пишет сценарии, только сценарии, мой дорогой, а не судьбы!

... Так где сценарий?.. Врет... Ха-ха-ха...

Тонкая папка шлепнулась перед ним...

Прошло еще мгновение — и увидел Иван Александрович себя как будто со стороны. Сидит он за столом и читает сценарий и, вроде не читает, просто сидит, а перед ним уже давно пустые страницы... Тут он раздвоился...

Один Иван Александрович потер лоб, оглянулся. Глаза опять потянулись к папке. Перед ним были чистые листы, и он сам глядел из них себе прямо в глаза.

Не выдержал этого взгляда Иван Александрович и отвернулся. Но взгляд как будто прилип.

"О, черт!" — выругался он сквозь зубы и резко захлопнул папку. Но и сквозь толстую обложку, казалось, просвечивали его глаза.

— Эй! — хрипловато крикнул он. И в тот же миг откуда-то сбоку вынырнул толстячок. Потирая ручки, он засеменял вокруг стола и опять шлепнулся в кресло напротив.

— Ну-с, как дела? Вам понравилось? Никаких, я надеюсь, отклонений? Все настоящее?

— А конец когда будет готов? — глухо спросил Иван Александрович.

— Будет, непременно будет, — закричал радостно человек. — Только подождать надо, чуть-чуть подождать. Заболел сценарист, проклятый симулянт, — доверительно вдруг зашептал он чуть шепеляво. — Из-за него такой конфуз и случился. А убийство, — неожиданно официальным тоном заявил толстяк. — Расследуйте, ищите, кто, что? Но мы тут ни при чем. Чем могу — помогу. Вот так, вот так, — он взглянул на часы, и личико его посерело. — Ой, какой ужас, — возопил он, — я опоздал. Простите, — он потрянул руку Ивану Александровичу, похлопал его по плечу и сгинул...

В тот же момент вошел охранник и предложил проводить его.

— Какой удивительный сон, — непрерывно думал вто-

рой Иван Александрович, который не участвовал, а как бы со стороны на все смотрел. — Но пора, наверно, и честь знать.

Он уже несколько раз пытался проснуться и не мог. Но, с другой стороны, не очень-то и пытался. Такие сны снятся нечасто. А вот теперь начинается самое интересное. Он увидит не в этой дьявольской папке, а наяву, что будет дальше.

Интересно, — мелькнула у него мысль, — совпадет это с тем, что будет потом на самом деле? Обязательно расскажу Аннушке...

Он вышел за ворота. Теперь Иван Александрович полностью раздвоился. Один из двойников куда-то шел, что-то делал. А другой — смотрел. Один был — сон. Второй — сознание, которое понимало, что все это сон, следило за развитием действия и запоминало... Чтобы потом, когда полюбуются оба, проснется спящий, — вспомнить и сравнить...

Он поглядел на небо, и тут следящее сознание отметило необычность дня. Весь день и свет, и все — бело. Сухой и пасмурный. Когда нет тени. И только краски на ставших вдруг плоскими объемах — горят, и каждый оттенок, как на картинах импрессионистов, подчеркнут своей пронзительностью, режет глаз... И в воздухе тончайший запах тлена и грусти. Незъяснимы ощущения такого дня. Как будто ты сам становишься бестелесным, теряешь объемность и скользяшь неслышно сквозь пасмурную сухость. Все выше, к белому высокому небу на невидимых резных столбах, взметнувшись далеко в бездонность опрокинутую. И чудится в такие дни, что сам ты ходишь вниз головой. И вовсе не ты это, а отражение твое, которое вдруг ожило и движется в матовом стекле. И нет теней...

Сознание, Ивана Александровича сжалось, и он снова увидел себя.

Куда спешил он, тот, второй, в молочном, белом стекле? Теперь Иван Александрович глядел на себя не отвлекаясь. Вот он сел в машину. Мчит. И ощутил вдруг, по-

— ...Что ж, позвольте поздравить вас. Такого успеха не ожидал никто. — Высокий строгий человек милостиво протянул руку. Круглый толстячок прилип к ней, поблескивая глазками. Вокруг зааплодировали...

Правительственный прием, с представителями печати, проходил в теплой дружественной обстановке.

— Мы беспокоились за исход этой вашей экспериментальной затеи. Все-таки искусство — искусством, а жизнь есть жизнь. Но теперь...

И снова раздались аплодисменты.

— ... Мой вклад здесь невелик, — скромно сказал маленький директор (это был он, директор киностудии, тот, что подсунил папку со сценарием покойному Ивану Александровичу, тот, что...). — ...Я лишь посредник. Жизнь — все в ней...

— На сколько серий планируете вы первый фильм?

— У нас очень перспективные... э-э... актеры. Я замаялся, потому что слово "актеры" непригодно в нашем случае. Конечно, на самом деле актеров нет. Есть жизнь. Все без подделки. И герои — персонажи жизни, а не кем-то придуманной, надуманной басни под жизнь, — здесь опять раздались аплодисменты. — ... Но пока нет подходящего нового термина, будем говорить слово "актеры". Они у нас весьма многообещающие, с очень разнообразной, яркой судьбой. Много коллизий. Особенно замечательна жизнь главной героини. Поэтому серий будет много...

— А как вам удастся знать наперед, перспективна ли судьба, и кто с кем связан, и т.д.?

— О, это секрет фирмы, — толстячок обворожительно улыбнулся. — Для зрителя мы делаем все, что можем. Не спрашивайте — как? Не разрушайте нашей иллюзии творческого. Ведь стоит разложить все по полкам, объяснить — и пропадает очарование...

...Еще слова. Они покружились, выстраиваясь цепочками.

Скажите, а... Это было замечательно... Как удалось вам... Новая эра... Такого не было никогда... Возможности какие!..

Но конец, особенно конец — это была находка. И все случилось так, как вы говорите, только потому, что заболел сценарист и не дописал последних сцен?..

Да, да, я понимаю, случилось так, как должно было случиться. Дублей не бывает...

— Перспективы? — пухленькие ручки директора прижались одна к другой. — Перспективы захватывают нас самих. Ведь в нашем распоряжении миллионы сценариев. Только выбирайте... Вы спрашиваете, написаны ли они уже? Да, сценарии давно написаны. Главное — съемка. Ведь она идет в нормальном времени. Мы не можем ускорить или замедлить жизнь. В этом наш недостаток. Но, думаю, со временем мы справимся и с этим. Кроме того, мы собираемся частично перейти и переходим уже на бессъемочный фильм. Для близких, друзей, по их заказу. Как бы кино в натуре. Герои — люди, которых они хорошо знают. Все действие развивается так, что они не только могут пассивно следить за ним, но одновременно и участвовать. Главное здесь — выделить само действие, героев и сказать об этом зрителям, дальше они следят самостоятельно за ним. У киностудии — неограниченные сценарные возможности. Но каждый знает: то, что мы видим на экранах, — ничтожный процент от существующего в фондах. Пылятся неиспользованные сценарии, ленты. Порой их извлекают и показывают, но, увы...

— и тут маленький директор так горестно развел руками, что все мгновенно прониклись к нему горячим сочувствием. — Увы, не все мы можем показывать. Конечно, когда мы полностью перейдем на бессъемочный вариант, так сказать, натурное, реальное видение, а не на экранах — возможности наши возрастут... Но не намного. Девяносто процентов сценариев так никогда и не увидят свет... Особенно трудно с эпическими картинками, где разворачивается, так сказать, полотно истории, жизнь страны... — вздохнул опять маленький директор и посмотрел на высокого строгого человека в президиуме...

— По-вашему, — донеслось из зала, — девяносто про-

центов судеб — не реализуются. Но в чем причина? Не хватает актеров?

Толстяк улыбнулся добросердечно и, как добрый рождественский дедушка, снисходительно и благосклонно поглядел на спросившего.

— Мы судеб не расписываем, — сказал он жмурясь, — у нас сценарии. И, естественно, каждый не сыграешь. Возможностей всегда больше, чем их воплощений. Трагедии в этом нет. Другое дело выбор. Что выбирать, какой из сценариев, тот или этот? Это другое дело...

— Но ведь сценарии — это куски реальной жизни, где настоящие люди, а не актеры, живут свои судьбы? — не унимался дотошный...

— У нас все настоящее, — маленький директор поджал губы и вдруг стал похож на раздраженного упыря. — Все настоящее! Без подделки! — тут он выразительно посмотрел на ведущего.

— Пресс-конференция окончена, — объявил ведущий.

Все с шумом тут же начали вставать. К дотошному подошел человек и что-то прошептал ему на ухо. Потом взял нежно за локоть и отвел в угол...

— Вы должны подчеркнуть новизну, нужность, важность, — сказал он, — и особо отметить, сколько впереди неиспользованных возможностей — и это все! Вы поняли меня? — спросил он ласково.

Дотошный с деланным высокомерием высвободил локоть, посмотрел презрительно и сказал:

— Понял.

— Вот так лучше, — равнодушно произнес человек и отошел.

Дотошный пожал плечами и с вызовом огляделся. Вокруг уже было пусто. Все ушли...

х х х

— Вы меня не понимаете, Аннушка, — задушевно, хорошо поставленным тенорком говорил маленький директор, и его пухлая ручка на мгновение коснулась ее руки.

— Эти деньги вы заработали. Вы стали известной актрисой. Разве вы не хотели поступить в театральный? — тут он отдернул ручку, таким яростным сине-зеленым огнем польхнуло у нее в глазах.

— Вы подлые, гадкие люди... — худенькие плечики задрожали.

— Вам не нравится последняя сцена? Но ведь это блестящий конец! Эта сцена делает весь фильм! — толстячок закатил глаза в изнеможении от этой глупости и нежелания понять. — Для нас искусство должно быть превыше всего. А всякое высокое искусство требует жертв!

— Это для вас сцена, — она говорила теперь сухо, яростно. — Сцена?! Он застрелился, а я, я... — она опять заплакала.

— Ну хорошо, хорошо, я не буду называть это сценой. Но зрителю ведь все равно было — это на самом деле или нет. Для него это гениальная игра. В этом все дело. Тонкий и незаметный переход к высшей форме искусства — к жизни. Они неразрывны: искусство и жизнь. Ты глупенькая, — маленький директор неожиданно перешел на ты. — Ты у нас лучшая... актриса, в старом смысле этого слова, — поспешно добавил он.

— Но как, как вы посмели так нагло, бесцеремонно влезть в чужую жизнь?!.. Кто дал вам право?!

Тут директор строго поджал свои пухленькие губки и неожиданно внушительным, каким-то очень значительным и густым голосом стал ее отчитывать:

— Ты глупая, бестолковая девица! Кто вмешался в твою жизнь? Да через два часа уже все соседи, а на следующий день и все твои родственники, и знакомые — все знали бы о том, что было. Слухи — страшная штука. Через два дня весь город только и говорил бы о пикантной историйке. Как начальник уголовного отдела изнасиловал молоденькую племянницу своего ближайшего друга. О какой жизни ты говоришь? Вся наша жизнь как на ладони. И величайших усилий стоит вот так, как мы это делаем, сохранить ее для искусства, а не пустить по ветру на бестолковое растерзание слухам. — Маленький

директор совсем разобиделся. — Мы спасли твою личную жизнь в тот миг, как она засветилась на экранах. И вместо позора к тебе пришло любимое дело, к которому ты так стремилась, я же знаю, и деньги, разумеется. Дура ты! — пискнул он.

И эта неожиданная смена внушительного голоса на писк так же неожиданно, против воли рассмешила ее. Аннушка тут же спохватилась, но было поздно.

— Вот чек, бери и отдыхай, — маленький директор теперь выглядел совсем усталым, и сочувствие вдруг тронуло душу Аннушки. — Впереди у нас много... съемок...

Она машинально взяла чек.

Он ласково потрепал пухлой ручкой ее за плечо и выкатился колобком в дверь.

Аннушка подняла глаза. В окне стоял вечер. Она заглянула опасливо в его темные глаза и тихонько вздохнула...

Маленькая фигурка застыла на краешке большого дивана, и пустота раздвинула стены... Застыло в ней время, и только капли дождя неслышно темными блестящими струйками скользили по стеклам... Нет горя, нет радости... Кому не быть в раю — тому забвение. Вечный покой. И темный свет беззвучно растворялся в глубине, откуда лились неслышные слезы и струйками скользили по гладкой прохладной коже стекла... Забвение... Костер погас. Нет радости, и горя тоже нет...

И медленно, как на экране, уходит изображение. Теперь лишь в бесконечной дали парят диван, и комната, и худенькая фигурка, застывшая маленьким вопросом, на самом краешке... Вдали одинокая черная птица на восходе летит, летит и точкой пропадает, сливаясь с тем, что вокруг...

... Шел тихий дождь. Не барабанил, не кричал, не метался, порывисто стуча каплями к кому надо и не надо. Лились безрадостные слезы, и никому нет дела. Так горько в темноте плачет ребенок о том, что не высказать никогда. Он с этим родился и умрет, и оттого он плачет. Нет никого, никто не замечает.

Зонты и зонтики, блестящие накидки, плащи шелестят,

шуршат, мелькают под фонарями... Асфальт опять, как темная река, горит огнями, весь в искрах отражений, и катятся, летят мокрые, желтые глаза... Все скользкое, лоснится и блестит. И повсюду темная глубина играет с огнями... Чуть душно. И в мокрой сырости такими острыми становятся запахи. Людей и мокрой шерсти...

Горят экраны. Новый фильм. Смотрите! Гениальный! Первая серия... И в тысячах каменных кинозалов, тесно прижавшись друг к другу, сидят темные, потные фигурки... Душно. И глядят, и смотрят миллионы глаз.

В одно мгновение стали знамениты герои, актеры единственной своей, последней и первой пьесы.

В одно мгновение разбогатели. Но это уже в следующем акте, следующей серии. Пока лишь первая.

Герои бессмертной драмы. И льется мутная струйка в душном подвальчике в граненое, с подтеками, заляпанное стекло...

— Да, Нил Нилыч, стал ты, брат, знаменит, — мокрые губы зашлепали с каким-то черным недоумением. — И сколько же отвалили тебе?

— Все мои! — зло отозвался служитель. Невесел был Нил Нилыч. Как же так? Заснять не спрашивая...

— Ты хитрец, служитель культа, — костистое лицо приятеля недобро бугрилось желваками. — Хитрец, — снова сказал он...

— Я не хитрец. Засняли и не спросили.

— Еще скажи, мол, я не знал... — губы иронически скривились.

— Не знал! — твердо сказал Нил Нилыч.

— Не знал? — костистое лицо совсем затвердело. — Ты что, за дураков нас принимаешь?

"...Никто не верит, — с тоской думал служитель. — Никто. И не поверит. А что мне эта слава. Правда, заплатили хорошо. Но все равно обидно".

Он прихлебнул из грязного стекла...

Паук неторопливо припадал. Очередная жертва чуть жужжала, и через мгновение жизни пустой, завернутый в лохмотья кокон уносили дождь, и темень, и скользкая не-

погода. Лениво каменный вампир бесшумно передвигался, заглядывая в подвальные, где по стенам сидели вялые, большие, черные мухи и липли стаканы к губам... Мутная струйка лилась...

— Ты знаешь? — Василий Петрович был возбужден. — Меня назначили на место Ивана Александровича.

Жена улыбнулась.

— Сколько тебе прибавили? И объясни мне, пожалуйста, что это все знакомые говорят, что ты снимался в фильме? Это правда? Почему ты скрывал?

— Я не снимался, — Василий Петрович был весел. — Меня снимали. Это второй тебе сюрприз. Гляди!

На стол упала тоненькая книжичка.

Большие выпуклые глаза жены стали еще больше и выпуклей.

— Ты выиграл в лотерею?

— Нет, мне заплатили за "участие" в фильме.

— Может, пойдем тогда, посмотрим, — она поглядела на часы. — Еще успеет на последний сеанс. Мне рассказывали, что там одни ужасы. Убийство. Насилуют...

— Да, мне тоже рассказывали, — Василий Петрович нахмурился. На самом деле он уже посмотрел фильм. Вместе с мурлыкающей рыжей секретаршей, которая теперь досталась ему по наследству. "Собака привязывается к человеку, кошка к месту", — мелькнула у него дурацкая мысль... Вслух Василий Петрович сказал:

— С этим убийством еще придется повозиться. Теперь все на меня свалилось, — он ненатурально вздохнул.

Она сияла выпуклыми большими глазами:

— Это будет продолжение фильма? Говорят, идет только первая серия.

— Какое продолжение?! Расследовать на самом деле надо, а не продолжение...

— Но ведь и тут, говорят, все, как на самом деле? — свет отразился и погас на выпуклой поверхности. Она моргнула.

— Пошли, — он надевал плащ. — Возьми зонт. "Какая в самом деле разница? — подумалось ему. — Пусть снимают"

Лишь бы деньги платили, — сказал он последнее предложение вслух.

Она тотчас же согласно кивнула.

Лифт дернулся и неторопливо повалился вниз.

А дождь все лил неслышно и лил. И в черной, поблескивающей тускло ночи горели желтые глаза. Десятки, сотни тысяч. Не мигая, застыв или скользя с шумом и брызгами мимо, нагло, в упор блеснув...

Зонты и шляпы, шуршат плащи и аккуратно, как зерно лопаткой, выметает и вновь горсть за горстью подбираывает город темные фигурки в каменные кинозалы. Где пахнет прелым. Душный и влажный воздух вдруг прорезают лучи, и вспыхивает голубая стена. Экран два, три, тысячи экранов, вновь начинается фильм. Последний сеанс.

И вновь пристально и напряженно смотрит город одни и те же кадры, теперь настоящие, без подделки. Смотрит, стараясь понять жизнь тех, кто выстроил его, живет в нем. Киностудия — его детище. Он пожиная плоды и смотрит, смотрит, не замечая, как по лицу струится вода или слезы из темных закрытых глаз вверху. И машинально, еще плотней закутывается в покрывало ночи, не отрываясь от маленьких голубых окошек в мир чуждого ему, смешного, нелепого существа...

— Смотри, смотри, — жена толкнула Василия Петровича слегка в бок. — Твоя фамилия в титрах. Теперь ты знаменитый.

— Тише ты! — шикнул он на нее...

В углу приспособился служитель. Он смотрит уже в десятый раз... И Аннушкины изумруды одиноко светятся в темноте. Она ходит на каждый сеанс. Только не знает, снимают ее сейчас или нет. Но все равно ходила бы и ходит, и смотрит, смотрит и ждет в основном конца, самой последней сцены... И рыжая секретарша, пусть не на каждый сеанс, но тоже ходит часто, благо кинотеатр рядом... Эх, только Ивану Александровичу не повезло...

Пролетают последние титры, фамилии, кто делал, киностудия и год... И начинается сам фильм.

На экране улица. Ровно и быстро бежит асфальтовая лента. Гроб слегка покачивается, подергивается из стороны в сторону. И скорбно, печально сидят на двух скамейках вдоль бортов катафалка родственники в темном и друзья. Молчаливые георгины...

КОНЕЦ ПЕРВОЙ СЕРИИ

УДАЧА

ПАМЯТИ А. ГРИНА

Сэт не летал на далекие планеты. Он был глубоко убежден в том, что чудо — вроде вывернутой наизнанку рубашки. Надо снять с себя одежду окружающего и вывернуть ее наоборот. Тут все и начнется.

— Послушай, Сэт, — сказал ему однажды знакомый пилот, — а тебе самому довелось хоть раз вывернуться в это самое, о чем ты так много толкуешь?

Пилот летал на чужие планеты. И Сэт промолчал, только поежился от ветра.

— Ты объясни как сможешь, — приставал тот.. — Я пойму...

Но Сэт снова промолчал. Медленно они шли по улице. Яркое освещение и холодный порывистый ветер создавали ощущение неустроенности и настороженности.

— Убрать бы ветер, — наконец пробормотал Сэт.

— Что ты?

— Да нет, ничего. Не люблю ветреной погоды. И слишком ярко сегодня. Знаешь, ответить тебе непросто. А объяснить и того труднее. Ведь это, как больные зубы. Либо они у тебя есть, и ты понимаешь эту боль. Либо их нет, тогда бесполезно. Ты не знаешь зубной боли и все тут.

— Ну это свинство, — в запальчивости воскликнул пилот. — Свинство так говорить. Я, мол, знаю, но как тебе, дураку, объяснишь?! Слишком ты много на себя берешь.

Сэт вздохнул.

— Да не беру я ничего на себя, — сказал он. — Только пойми: есть вещи, которые объяснить труднее, чем алгебру или геометрию. Нет для них общедоступной логики. А ведь только ей мы верим в наш просвещенный век. Пойдем, лучше, посидим где-нибудь.

В маленьком накуренном помещении рестораника было тепло и разгоряченно радушно. На скатерти жел-

тели пятна, но поданное пиво оказалось свежим и холодным. За соседним столиком одиноко сидел пожилой человек с наружностью не то отставного военного, не то бывшего бармена. Круглое мясистое лицо, коротенькая щеточка усов. Из-под набрякших век холодно смотрели равнодушные глаза, неопределенного серо-голубоватого цвета.

Неожиданно на его лице появилось нечто вроде улыбки, и он хрипловато протянул:

— Привет, Сэт. Не узнаешь?

И, не дожидаясь ответа, подсел к их столику. Сэт улыбнулся в ответ и протянул ему руку.

— Это Тилли, — представил он пилоту вновь подсевшего.

— Кстати, вот у кого можно обо всем расспросить. Он нам послужит если не доказательством, то примером. Послушай, Тилли, мой товарищ жаждет узнать о мире, что шиворот-навыворот, или, говоря попросту, о чудесах. Я так тебя понял?

— Ну, если хочешь, то пусть это будет о чудесах.

— Тилли, расскажи нам о чуде, у тебя оно было, Тилли, не так ли?

— Сэт, я уже стар, а ты все еще обращаешься ко мне как к ребенку. Какое там, к дьяволу, чудо. Вся моя жизнь — это сплошное и безысходное чудо. Ты хочешь заставить меня рассказывать автобиографию? Не слишком ли это жирно для такой скромной персоны? Кто твой приятель, кстати?

— Он пилот, Тилли. Он летает в чужие миры, а хочет чудесного здесь, в мире нашем. Понимаешь, хочет. Да не надо нам твоей биографии. Ты лучше расскажи о том случае, когда, помнишь, тебе безумно повезло. Такое бывает редко. А раз редко, значит — чудо. А чудо — это и есть мир шиворот-навыворот.

Лицо Тилли неожиданно сморщилось от хихиканья.

— Вам везло когда-нибудь? — обратился он к пилоту, вытирая выступившие от смеха слезы.

— Иногда везло. Хотя трудно сказать. Что такое везло — не везло?

— Раз не знаешь, — тон Тилли стал старчески ядовитым, — значит, не везло. А вот мне однажды везло. Ух, как везло. Я чуть не свихнулся. Но зато теперь я знаю точно — хуже нет, когда везет.

— Но почему же?

— Не перебивай старого Тилли, если хочешь послушать. Сэт, закажи мне стаканчик. Так вот как было дело...

х х х

Было утро. В распахнутое окно проскальзывали отдаленные шорохи большого города, шарканье подошв. Вдалеке гудели автомобили. День был пасмурным. Небо напоминало старую стертую промокательную бумагу. Казалось, вот-вот в самом тонком месте набухнет и потихоньку польется вниз безрадостная моросящая сырость. Но настроение у проснувшегося Тилли было на редкость хорошим. Не торопясь, он одевался. Полез рукой в карман и с глубоким удовлетворением вытащил несколько бумажек. Позавтракать и опохмелиться хватит, а там будет видно. В голове мелькнули воспоминания. Вчера...

Спустя полчаса Тилли с зонтиком, не торопясь, шагал в ближайшее кафе. За чистеньким маленьким столиком при виде графинчика с водкой и аппетитной острой закуски его настроение еще сильнее подпрыгнуло.

За столиком он был не один. Напротив сидел мрачный, взлохмаченный субъект и, не поднимая глаз, меланхолично ковырял вилкой в тарелке с яичницей. Неожиданно он в упор посмотрел на Тилли и заявил:

— Прекрасное настроение, а?

— Прекрасное, а что? — Тилли нахмурился.

— Хотите испорчу?

— ...?

— То-то же, — субъект назидательно ткнул салфеткой в тарелку и, лениво откинувшись на спинку стула, при-

нялся рассматривать пуговицу на пиджаке у Тилли.

Тот не нашелся. Повисла тишина.

Незнакомец неожиданно заговорил:

— У меня есть предложение. Хотите удачу? В чистом виде, без обмана, но только надолго, не на один день и не на два, а насовсем. Передаю, так сказать, из рук в руки.

"Наверно, сумасшедший", — подумал уже захмелевший от рюмки Тилли и поискал глазами официанта. Угадав его мысли, незнакомец усмехнулся.

— Бросьте, я вполне нормален. Хотите или нет?

— Кто же не хочет? — Тилли произнес это очень осторожно и выжидательно посмотрел на собеседника.

Тот закурил, погасил спичку, задумчиво затаился, и, выпустив клуб дыма, коротко бросил: "Идет" — и тут же полез за чем-то под стол. Тилли с любопытством наклонился. Под столом стоял большой портфель незнакомца, из которого тот и извлек какую-то маленькую тряпицу.

— Вот, — произнес он, — берите и наслаждайтесь, — и протянул тряпицу Тилли.

Недоумеая, Тилли молча принял кусок материи из рук собеседника, а когда снова поднял глаза, то напротив никого не было. Ничего не понимая, он перевел взгляд на тряпицу, потом — на пустое место. Подошел официант и подал счет. Тилли молча расплатился и в сильном недоумении направился к двери. Он услышал визг тормозов и как в полусне увидел сбегающую публику. Протиснулся поближе. На асфальте, судорожно скрючив далеко отброшенную руку, лежал его недавний собеседник. По бледному, мрачному лицу тоненькой струйкой текла кровь. На мокрой мостовой, быстро темнея, расплывалось неприятное пятно. Вздвогнув, Тилли отвел глаза, быстро протолкался через толпу зевак и поспешным шагом, почти бегом, бросился в сторону.

Вот и первая удача, — мелькнуло в его разом протрезвевшей голове, — чуть раньше — и я бы мог там

сейчас лежать". От этой мысли ему стало жарко. Он вспотел. Тряпица жгла руку. Злобно выругавшись, Тилли резко разжал руку, пытаясь стряхнуть лоскуток. Но тряпица, будто ядовитое насекомое, прилипла к ладони. Его затошнило от страха. Он попытался взять себя в руки, засунул тряпку в карман, вынул руку. Тряпица осталась в кармане.

"Значит, нельзя хотеть выбросить, — подумал он, — а зачем, собственно, выбрасывать? Быть может, она мне жизнь спасла".

Тут он вспомнил, что деньги у него кончились и надо что-то придумать. Мысли о будущем изменили его настрой и отношение к тряпице. "Если это удача, — подумал он, — то нет ничего проще, воспользуйся ею. Чего ты испугался, дурак?"

Так сказал он себе и приободрился. Вспомнил, что сегодня игровой день на ипподроме. А вчера знакомый наездник подсказал двух лошадок.

"Ну вот и проверим удачу", — подумал он с каким-то вызовом, и даже усмешка заиграла на губах. Но тут перед глазами всплыла скрюченная рука на асфальте, усмешка погасла, и Тилли поежился. Потом сплюнул ухарски и вскочил в трамвай, что шел на ипподром.

Огромное поле ипподрома мокро поблескивало. Небо еще хмурилось, но уже где-то сбоку голубел чистый лоскут. Тучи пухли и неслись все быстрее, разрывая себя в клочья. Ветер переменялся, потеплел и, разбухая влажной сыростью, широко раздувал флаги вдоль дорожки. Возле касс, в переходах гулко сновала взбужденная публика.

"Проверять — так проверять", — решил Тилли и единственный свой рубль, впрочем, не без некоторого мучительного колебания, поставил в первых двух заездах на лошадей под первыми номерами, один-один. Наездник ему вчера сказал ставить на три-восемь.

Прозвучал гонг. Толпа ринулась на трибуны. Залы опустели. Только возле буфета кто-то еще давился бутербродом.

"Посмотрим", — Тилли не спеша направился на трибуны. Лошади уже прошли четверть круга. Толпа гудела. Шум усиливался. Слышались отдельные выкрики. Полкруга. "Впереди под номером 3 идет Рона", — бесстрастно бухнул репродуктор.

"Идиот", — подумал о себе Тилли.

Лошади резко вывернули на финишную прямую. Впереди красиво летела лошадь под номером три. Но следом за ней, совсем близко, настигая, шел первый номер! Гул перешел в рев. Трибуны неистовствовали.

Первой линией финиша пересекла лошадь под номером один. Яростная ругань, недоумение, свист полетели над ипподромом. Кто-то в бешенстве кромсал программку. С радостным еканьем внутри Тилли направился в кассовый зал. Подошел к буфету и заказал себе пива.

"Не буду смотреть второй заезд, — решил он. — Чтобы не сглазить".

В ординаре за первый номер выдали фантастическую сумму. На него никто не ставил. Выиграли случайные чудачки.

Гонг. Снова все ринулись на трибуны. Начался второй заезд. Тилли удобно устроился на скамье возле буфета. В окошечках маячили кассирши. Буфетчица отдыхала. Снаружи донесся рев. В зале появились первые неистово жестикулирующие игроки. Внезапно наступила тишина. Все напряженно смотрели в сторону динамиков.

"Первой под номером один закончила дистанцию Корона под управлением наездника Фукса. Номер восемь проиграл...".

Внутри у Тилли вдруг стало горячо-горячо, во всем теле появилась какая-то непонятная слабость. Он подошел к кассе и протянул свой билет. Ближайшие к нему игроки молча придвинулись, напряженно дыша. Они заметили билет. Кассирша долго рассматривала маленькую картонку. Появился полицейский и предупредительно остановился позади Тилли.

— Вас проводить? — спросил он.

Тилли обернулся недоумевая. Полицейский улыбнулся и пояснил:

— Большая сумма...

Кассирша отсчитывала бумажки. В глазах у Тилли потемнело. Потными руками он, не поднимая глаз, рассовывал их по карманам. Кольцо людей, плотно его обступивших, медленно сжималось.

— Расходитесь, граждане, — голос полицейского слегка подрагивал.

Тилли был единственным, кто поставил на комбинацию один-один. Взгляды десятков глаз, завистливые, недоумевающие, злые, ненавидящие, жалили его.

— Проводите меня, пожалуйста, — устало обратился он к полицейскому.

Покрикая и расталкивая толпу, тот медленно направился к выходу. Тилли поплелся следом. Кто-то с надрывным воплем: "Одолжи!" — ринулся к нему. Полицейский ловким движением оттолкнул просителя, и они благополучно вышли на улицу.

В такси он старался ни о чем не думать. Навалилась усталость, и откровенно хотелось разрыдаться. Все проблемы были решены. Больше бороться было не за что. Настолько все случившееся ошеломляло, что где-то внутри смутно шевелилась мысль: а лучше бы этого не было.

Но, так или иначе, карманы Тилли были набиты деньгами, а такси не спеша катило по вечерним улицам. Мир продолжал свое существование, и Тилли тоже. И хоть все и переменялось для него, в сущности, ничто не изменилось в мире. "Но как же так?" — спрашивал он себя. Все изменилось, и все осталось прежним? От этой неразрешимости мысли путались, и безумно вдруг захотелось спать...

Старого Фокса знали все. Знал его и Тилли. Он пришел к нему на следующий день и сказал:

— Слушай, Фокс. Я выиграл много денег. Помоги мне.

Фокс, мельком взглянув на него, молча продолжал раскладывать пасьянс.

— Тебе помочь истратить или ты хочешь уюта? — спросил он наконец, удовлетворенно сгребая карты.

— Я хочу, чтоб мне было лучше. Я не жил, когда много денег в кармане, и теперь мне немного не по себе, понимаешь?

— Значит, хочешь уюта. Ты знаешь Клару?

— Кто же ее не знает, Фокс?

— Вот и пойдешь к ней, с нею будет уют, — Фокс уложил аккуратно карты в коробочку. — Иди, иди, а мне сейчас некогда.

— ...?

— Да иди же. Все знают, что она к тебе равнодушна, — и Фокс поднялся из-за столика, давая понять, что аудиенция окончена.

Тилли медленно брел по улице.

"До розыгрыша остался один день", — глухо рявкнул рядом с ним голос. Машинально Тилли подошел к столику и купил билет. Светофор сменился на зеленый. Машины, набирая скорость, дружно взвыли моторами. Маленькая девочка прилипла носом к витрине. Ее мамаша, отвернувшись, о чем-то оживленно болтала с накрашенной толстухой. Поблескивая красненьким огоньком, по тротуару прямо под ноги Тилли катился окурок. Все спешило, жило, чирикало, бормотало. А Тилли вдруг почувствовал себя где-то вне этого всего. Сознание его расширилось и ушло в пустоту.

Скрипнули тормоза автобуса. Дверцы лязгнули, и посыпались люди. Он пришел в себя, грустно вздохнул, ощутив себя каким-то старым и деревянным. Плеча коснулась чья-то рука. Резко обернулся.

— Клара?!

— Здравствуй, Тилли. Ты не рад меня видеть?

— Ну что ты, — он смешался, — очень рад. Я сам хотел к тебе зайти.

— А я пришла сама.

Тилли насторожился.

— Ты видела старого Фокса?

— Нет. А что?

— А как же ты меня нашла тогда и... зачем? — Тилли спрашивал, осторожно выбирая слова, запинаясь, хотя внутри все кричало одним вопросительно-восклицательным криком.

— Ты не понял меня. Я была у своей тетки. Она здесь живет неподалеку, и увидела, как ты стоишь с полчаса, озираешься и вообще в какой-то растерянности. Вот и решила подойти спросить. У тебя все в порядке?

— Не совсем, Клара.

— А что случилось, ты заболел?

— Нет, у меня просто слишком много денег.

Она расхохоталась.

— Но это же значит, слишком все в порядке.

— Действительно, слишком...

— Но что с тобой?!

Он молча смотрел на нее. Улыбка сошла с губ девушки.

— Привет, Тилли. Говорят, ты выиграл много денег?

— Здравствуй, Тилли. Говорят, ты богат теперь.

Знакомые наперебой с ним здоровались. Совали руки, похлопывали по спине. Он стоял и молчал. Голоса доносились вроде издали. Из пустого и беззвучного он видел маленькие фигурки, себя, Клару. Юркие автомобильчики. Клетчатые коробочки домов. Потом уже весь город. Все дальше, дальше, и только совсем рядом монотонно бубнил кто-то: "...Тилли, Тилли, Тилли-бом. Загорелся кошачий дом. Тилли, Тилли, Тилли-бом..."

х х х

Старый Тилли замолчал. Сэт потягивал пиво. Пилот, внутренне скучая, тем не менее изобразил на лице готовность слушать дальше.

— Ладно, не буду утомлять вас перечислениями. С того дня мне просто везло, и этого достаточно. И вот через месяца два-три я понял, почему тот человек, что дал мне лоскуток удачи, был так мрачен. Слишком большое везение, ребячки, еще тягостнее, чем неудачи. Собственно, жить стало незачем.

Он замолчал. Потом неожиданно захихикал.

— А сколько раз я пытался избавиться от этой тряпицы. Она как бальзаковская шагреновая кожа, не горела, не выбрасывалась. А отдать другому боялся.

— Чего же вы боялись? — вежливо спросил пилот.

— А вот Сэт вам может объяснить.

Сэт молчал. Пилот, вопросительно на него глядя, налил себе пива. Вся эта история начинала ему откровенно надоедать. Да и не верил он, говоря по правде, ни единому слову этого неухоженного старика. Сэт пошевелился и спокойно ответил:

— Видишь ли, удача мстит тем, кто от нее отказывается. Это все равно, что падать с горы. Чем выше забрался, тем опаснее и больнее. Неудачи упорствуют и удерживают. Везение просто мстит.

Пилот кивнул, хотя ничего не понял. Затем снова посмотрел на Тилли.

— Чем все это кончилось?

— Я ее отдал.

— И ничего не случилось?

Тилли молча выдвинул из-под стола ноги и приподнял старые замусоленные штанины. Пилот увидел два протеза.

— Я в тот же день попал под трамвай...

История становилась тягостной. Сэт молча продолжал потягивать пиво. Тилли тоже замолчал. Нужно было расходиться. Пилот сделал еще одну попытку:

— А кому вы отдали эту тряпичную удачу? — сострил он.

— А вот Сэту.

Пилот посмотрел на Сэта. Тот спокойно полез в карман и вытащил маленький лоскуток материи. Подержал его некоторое время на ладони, затем резким движением попытался стряхнуть на пол. Лоскуток будто прилип к его пальцам.

— Вот она самая, — он зажег спичку и поднес ее к тряпке.

Спичка, догорев, погасла. Он бросил ее в пепельницу. Лоскуток не загорелся.

— Видишь, старый Тилли не врет, — прохрипел старик. Официант принес еще пива. Пилот устал. Все казалось ему каким-то фокусничеством на уровне балагана средней руки.

— Ну а тебе она не стала в тягость? — спросил он, чтобы как-то поддержать беседу.

— Нет, — Сэт спрятал тряпочку в карман, — у меня почти нет желаний, поэтому удача бессильна.

Наступило молчание. Пора было уходить. Пилот все же не выдержал:

— Знаешь, Сэт, откровенно говоря, я не ожидал от тебя мистических историй. Мне они всегда не нравились. Но, в конце концов, я сам напросился, так что уж объясни, будь любезен, при чем здесь твоя излюбленная вывернутость наизнанку?

— Изнанки, пилот, просто нет. Или, если хочешь, она только и есть. Живем-то в изнаночном мире. А лоскуток настоящий, без подделки.

— Почему же он тогда мстит, этот настоящий мир?

— Счастье одного, несчастье другого.

— Я не понимаю твоих иносказаний, — пилот разозлился. — Сожалею, что потащился с тобой сюда. — Он посмотрел на часы. — Мне пора.

Ресторанчик пустел. Сэт поднялся и позвал официанта.

— Ну, спасибо тебе, Тилли, за рассказ, — сказал он и пожал старику руку. — Пошли, — обратился он к пилоту.

Они вышли на улицу. Ветер к ночи усилился и теперь гулко, распластавшись, бесчинствовал в узком переулке. Фонари раскачивались, как китайские болванчики. Круг, свет. Круг-свет. Сэт поднял воротник, поежился. Пилот, глубоко засунув руки в карманы, пытался придумать какую-нибудь фразу на прощание. Ветер носился с шелестом и присвистом. Вот он яростно начал отдиравать какой-то плакат, потом остановился передохнуть на мгновение и неожиданно всей своей пружинящей массой ринулся на будку мороженщика, подфутболив по пути кем-то брошенную газету. Шелестя и переворачиваясь, как вялое тело утопленника, она мягко перевалилась

на мостовую и, подхваченная новой волной, исчезла в подворотне напротив.

— Послушай, Сэт, — голос пилота подрагивал от волнения, — у тебя же нет желаний, ты сам сказал. Отдай мне...

Сэт резко остановился. Глянул остро.

— Ты все напутал, пилот. И до, и после. Той удачи не существует. Тилли просто пьяница, а ноги потерял еще в детстве.

Он повернулся и, не попрощавшись, зашагал прочь. Ветер ловко вывернулся из-под дома и швырнул в лицо пилоту горсть пыли. Впереди, пошатываясь, брела фигура пьяного. Сквозь шум ветра долетело: Тилли, Тилли, Тилли-бом... загорелся кошкин до... последнюю согласную проглотил ветер.



Нина ВОРОНЕЛЬ

УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ

Действующие лица:

Доктор Астров — рафинированный интеллигент лет 48, занимает высокий административный пост в науке.

Алик — рубаха-парень, однокашник Астрова по Университету, неудачник.

Веня — лет под 30, приятель Алика и подчиненный д-ра Астрова.

Аркаша — за 55, фотограф, владелец моторной лодки.

Место действия: Финский залив, километрах в десяти от берега. Начало лета. Вечереет.

Время действия: начало семидесятых годов XX века.

X X X

Моторная лодка в открытом море. Берега на видно. За рулем — Аркаша, остальные сидят на скамьях, в руках у Алика гитара, он наигрывает все время модное в 30-х годах танго "Утомленное солнце".

АРКАША: Что я могу сказать: плохие времена настали. Кому теперь нужен фотограф, когда каждый сам себе фотограф?

АЛИК: (напевает) Утомленное солнце нежно с морем прощалось... Видишь, Венька, на твоих глазах утомленное солнце нежно прощается с морем, а ты ехать с нами не хотел!

АРКАША: (подхватывая танго) ...в этот час ты призналась...

АЛИК: (вместе) ...что нет любви! Та-ри-та-та-рам!
АРКАША:

Алик продолжает наигрывать.

АРКАША: Когда я был мальчик, так все только и делали, что пели эту песню! (напевает) Мне сегодня взгрустнулось без тоски, без печали...

АЛИК: (не прекращая играть на гитаре) Нет, ты только представь, доктор Астров ведь он ни за что не хотел ехать с нами. Чуть из машины не выскочил, когда тебя увидел. Я силком его удержал...

ВЕНЯ: (смущенно) Ну, Алик, ну брось... ну, зачем? Не надо...

АЛИК: (продолжая наигрывать) Ты слышишь, доктор, он утверждал...

АРКАША: (напевает) Мне сегодня взгрустнулось...

АЛИК: (настойчиво) ... будто тебе его присутствие будет неприятно. Что ты на это скажешь?

АРКАША: (напевает) ...без тоски, без печали...

ВЕНЯ: (в панике) Алик, ну зачем? Я же просил... не надо...

АРКАША: (напевает) В этот час прозвучали слова твои...

АЛИК: Ты чего не отвечаешь, доктор? Или тебе и вправду неприятно? А то ведь я не поверил!

АРКАША: (напевает под гитару) Расставаясь я не буду злиться...

АСТРОВ: (напряженным голосом) Алик, чего ты, собственно, добиваешься?

АРКАША: (напевает) ...виноваты в этом ты и я, та-ри-ра-ри-рам!

АЛИК: Чего я добиваюсь, мой благородный друг? Истины, конечно, чего же еще? (присоединяясь к Аркаше, напевает) Утомленное солнце нежно с морем прощалось...

АСТРОВ: А для чего тебе истина?

АЛИК: Ты же знаешь — правдоискательство, врожденный порок, так сказать. Из-за чего всю жизнь страдаю... (напевает с Аркашей) ... В этот час ты призналась, что нет любви...

АРКАША: (под музыку) ... Все прямо-таки с ума сходило из-за этого танго! (напевает) Та-ри-ра, ра-ри-рам! Ах, какие это были времена: никто еще не умел фотографировать, и я был первый фотограф в Одессе! Та-ри-ра, ра-ри-рам! И учтите, мне было тогда всего девятнадцать!

АЛИК: Так что, доктор, тебе действительно неприятно? АСТРОВ; (раздраженно) Может, оставишь меня в покое?

АЛИК: Или ты имеешь что-нибудь против истины?

АСТРОВ: Никакой истины нет, ее выдумали метафизики. Все зависит от точки зрения.

АЛИК: Брось философию, старик! Меня интересуют факты.

АСТРОВ: Факты тоже зависят от точки зрения.

ВЕНЯ: Мы учили в школе, что факты — упрямая вещь.

АРКАША: Что я могу сказать — когда я работал фотографом в Барнауле, все факты проходили через мои руки. Строили они там какой-то машиностроительный комбинат: ну знаете, обязательства, перевыполнение, пятiletки, семилетки — все как полагается. Вот подходит срок сдачи, а у них, конечно, только фундамент из земли

вылез. Они — куда? Они, конечно, к Аркаше: Аркаша, выручай!

АСТРОВ: При чем тут Аркаша?

АРКАША: Я и говорю: при чем тут Аркаша? Он кто — Бог? А они говорят: Аркаша, ты даже больше, чем Бог! И что бы вы думали? Таки выручил; знаете, — еврейская голова? Поставили они свои станочки на свой фундамент, и Аркаша их сфотографировал.

ВЕНЯ: И что?

АРКАША: Как — что? Все им надо рассказать и в рот положить! Станочки сфотографировал, а потом на заднем плане стеночку пририсовал — кирпичик за кирпичиком, как одну копейку. Получилась, как живая, — ну, отретушировал, конечно, — что я могу сказать: не стеночка, а конфетка!

ВЕНЯ: И что — сошло?

АРКАША: Я просто удивляюсь, как вы спрашиваете! Конечно, сошло! Все получили премию, и был большой банкет: икра, балык, коньяк.

ВЕНЯ: А вас пригласили?

АРКАША: Зачем меня? Я коньяк не пью: у меня, знаете, печень...

ВЕНЯ: Как же вас отблагодарили?

АРКАША: Как вам сказать? Пришлось поменять квартиру сюда, поближе к морю, — знаете, никто не любит свидетелей. (Веня хохочет) Но я вам скажу: я не жалею. Знаете этот сибирский климат? Так это не еврейское дело — жить в Сибири!

АЛИК: А в Ленинграде жить — еврейское дело? (Веня смеется) (Алик напевает) Расставаясь, я не буду злиться...

АРКАША: Зачем злиться, когда у тебя и так больная печень?

ВЕНЯ: А я в Барнауле родился, в эвакуации. Там ребята пели на мотив вашего "Утомленного солнца", (напевает) Утомленная Сарра возвращалась с базара...

АЛИК: (присоединяется к Вене, поют) А навстречу ей плелся ее верный Абрам.

АРКАША: Ах, испортить такое красивое танго!

АЛИК: (с вызовом) Та-ри-ра; ра-ри-рам! (продолжает в сопровождении гитары и Вени)

Мне соседи сказали.

Ты была на базаре

Покажи поскорее, что ты принесла.

Та-ра-ри, ра-ри, рам!

Покажи поскорее, что ты принесла, та-ра-ри,ра-ри,рам!
АСТРОВ: Никогда не постигну этого поразительного еврейского тщеславия — чтоб говорили о тебе, пели о тебе, пусть хоть ругали, хоть унижали, только б не забывали!

ВЕНЯ: Да вроде и так не забывают.

АСТРОВ: Где уж тут забыть, всегда норовите о себе напомнить! Вот вы, в частности...

АЛИК: Значит, ты и вправду что-то против Веньки имеешь, а доктор?

АСТРОВ: Ты-то чего хочешь? Ты-то при чем?

АЛИК: А я ни при чем — я лицо нейтральное. Я интересуюсь исключительно истиной, ибо только в истине есть истинная ценность. Как, например, в этой бесхитростной песенке: (поет, Веня к нему присоединяется)

Мне соседи сказали, ты была на базаре.

Покажи поскорее, что ты принесла, та-ра-ри, ра-ри, рам!

АРКАША: (затыкая уши) Ну зачем, зачем? Так все испортить!

АЛИК: Несу я курочку,несу я булочку,

ВЕНЯ: Кусочек маслица, два пирожка!

Я никому не дам, все съест родной Абрам,

А курочку разделим пополам!

Та-ри-ра, ра-ри, рам!

АСТРОВ: (кричит) Перестаньте! Гадость какую-то завели, слушать тошно!

АЛИК: Какая прекрасная, возвышенная душа у нашего доктора Астрова! И хоть возраст — но романтик! Вот уже почти сто лет твердит он нам, что в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли!

АРКАША: Сто лет — кто б мог подумать? Он так молодо выглядит!

Веня хохочет.

АСТРОВ: Ради Бога, Алик, избавь нас от этой затхлой шутки!

АЛИК: Аркаша, друг, сознайся — ты учился в школе? Ну, не огорчай меня: скажи, что учился!

АРКАША: Ну, положим даже, что учился. Так что?

АЛИК: А если учился, ты не мог забыть доктора Астрова — светлого умом, высокого мыслью...

АСТРОВ: И как не надоест! Ведь ты тридцать лет жуешь эту жвачку!

АЛИК:... (вдохновенно) и благородного порывами рыцаря без страха и упрека! Помнишь, ты писал о нем сочинения? Ну, вспомни эти блаженно-сладостные минуты перед звонком, когда ты утирал влажный лоб лиловой от чернил ладонью! (ударяет по струнам) Та-ра-ра, ра-ри-рам!

АРКАША: Что я могу сказать — сочинения всегда были моим слабым местом!

АЛИК: Ладно, простим Аркашу: он мог забыть — он кончил школу давно, а потом прошел сложную школу жизни.

АРКАША: Знаете, если б я рассказал вам свою жизнь, так это был бы роман.

АЛИК: Но вот ты, Веня, — с тебя спрос другой. Уж ты, небось, был отличником и, конечно не забыл, как наш милый доктор клятвенно заверял нас, что мы еще увидим небо в алмазах?

ВЕНЯ: (стесняясь) Что-то было в девятом классе.

АЛИК: Да, брат доктор, в девятом классе обещал, а теперь подводишь!

АСТРОВ: Слушай, зачем ты нас сюда заманил? Кажется, для отдыха и развлечения?

АЛИК: А мы и развлекаемся, разве нет? Я вот, например, — шучу, пою, играю, себя не жалею, Аркашу привлек даже, чтоб и на суше, и на море! Аркаша, расскажи им про лодку!

АРКАША: (охотно) Что я вам скажу, вы, конечно,

думаете, что это обыкновенная лодка? Так это НЕобыкновенная лодка!

АЛИК: (ударяя по струнам) Та-ра-ра,ра-ри-рам! Вот и лодка необыкновенная, а тебе все мало! И Веню я с собой прихватил — для ровного счета: чтоб если в преферанс, так пожалте, полный набор! Ах да, в Вене как раз и загвоздка! Или нет, а, доктор? Что у вас там с Веней вышло?

ВЕНЯ: Ну что ты, ей-Богу! Ну не надо! Ну, оставь!..

АЛИК: Вень, ты что, не веришь в доктора Астрова? Напрасно, — я знаю его уже тридцать лет: это самый благородный герой русской классической литературы! Хоть в реальной жизни он иногда проявляет себя как подлец, в душе он всегда возвышен!

АСТРОВ: (в ярости) Ты просто бессовестно пользуешься тем, что отсюда нельзя выйти!

АЛИК: (благодушно) А ты не нервничай так, ты расслабься, сделай дыхательные упражнения: вдох-выдох! Вдох-выдох! Сразу легче станет.

АСТРОВ: Я ине нервничаю, с чего бы мне?

АЛИК: (сокрушенно) Нет, ведь это просто чудо — как ты меня боишься! Прямо весь дрожишь, ей-Богу!

АСТРОВ: (принужденно смеясь) Слушай, у тебя магия величия, ты бы к психиатру сходил!

АЛИК: Я и сам иногда думаю: может, мне это только кажется? Ну с чего бы тебе так меня бояться?

АСТРОВ: Действительно, с чего бы?

АЛИК: Ведь ты кто? Большой человек, научный руководитель, у тебя полк людей под рукой, а я никто — шпана, ближе Камчатки пристроиться не смог, а ты передо мной трепещешь! Смех один!

АСТРОВ: И как я тебя терплю столько лет!

АЛИК: И ведь всегда так было, с первого класса! Ты представляешь, Венька, этот вечный отличник, сталинский стипендиат, аспирант, докторант, всю жизнь моего суда в трепете ждал. И когда имя твое изо всех твоих научных работ вычеркивал, тоже ведь суд мой предвидел, и все же вычеркнул! Надо же — героем оказался. Ибо ге-

рой — не тот, кто не знает страха, а тот, кто страх свой побеждает.

В Е Н Я: (в смятении) Слушай, зачем ты мне это рассказываешь? Зачем мне все это знать? А я — дурак несчастный, зачем впутался, зачем на ходу из машины не выскочил?

А Л И К: Ты, во-первых, не герой, — чтоб на ходу высказывать. А во-вторых, ты романтик, очень ценишь настоящую мужскую дружбу, чтоб, значит, как прошлым летом на Камчатке, ветер в лицо, а водку — в глотку. Вот мы сейчас под водку твои проблемы и обсудим.

В Е Н Я: С чего ты взял, что я хочу свои проблемы обсуждать?

А Л И К: Ты не хочешь, зато я хочу.

А С Т Р О В: А ты, собственно, при чем?

А Л И К: А кому приходится следить, чтобы в тебе все было прекрасно? Положим, насчет лица или, там, одежды ты и сам позаботишься, но вот с душой и мыслями — ой, хлопот!

А С Т Р О В: Вот почему ты в науке ничего не достиг!

А Л И К: А что, неплохое оправдание для неудачника? Ведь с тобой не заскучаешь: чуть зазеваешься, ты тут же напраказишь, — вот с Венькой, например.

В Е Н Я: Ну, Алик, брось, хватит! Ни к чему это! Не хочу я об этом, не хочу!

А С Т Р О В: И место для выяснения неподходящее! И время!

А Л И К: Чем неподходящее? Тихо, тепло, никто не мешает, все свои.

А С Т Р О В: И убежать некуда?

А Л И К: И это, в частности, было предусмотрено. Такая замкнутость очень стимулирует.

А С Т Р О В: Так вот: ничего из этого не выйдет! (решительно) Аркадий, прошу вас: немедленно отвезите нас к берегу.

А Л И К: (смеется и напевает под гитару) Расставаясь, я не буду злиться, виноваты в этом ты и я. Та-ри-ра,ра-ри-

рам! Аркаша, что же ты? Не слышишь? Доктор просит отвезти его на берег!

А Р К А Ш А: Что я могу вам сказать? Если Алик прикажет, я — пожалуйста. Куда угодно — хоть в Финляндию.

А Л И К: Да, доктор, плохо: придется попросить Алика. А Алик ни за что!

А Р К А Ш А: Вот видите!

А С Т Р О В: Он что, за это дело валютой расплачивается?

А Р К А Ш А: Эх, я вижу, вы верите только в деньги! А если б я сказал, что он спас мне жизнь, вы бы разве поверили?

А С Т Р О В: Что, вытащил с поля боя на собственной спине? Смертельно раненного, конечно?

А Р К А Ш А: Зачем с поля боя? С поля боя меня вытащил другой. Ведь я, знаете, очень удачливый парень. Меня ранило в легкое — представляете, как мне повезло?

В Е Н Я: (хохочет) Да, это удача!

АРКАША: Конечно, удача, а что бы вы думали? Ведь могло оторвать руку, или, скажем, ногу, или даже две, представляете? А если подумать, так и вообще могли убить. А тут — списали вчистую, а снаружи никакой метины: может, там, дышу, как паровоз, или кровью харкаю, так кто на такие мелочи смотрит?

А С Т Р О В: А когда же Алик отличился?

А Р К А Ш А: Видите ли, хоть я и удачливый, но когда я вышел из госпиталя, так с деньгами, скажу я вам, было-таки туго. Не то чтоб работы не было. Работа, прямо скажем, была, да я был не работник, — головокружения, кровохарканья, да и в обморок я чуть что падал. А есть-пить все равно надо? Ну и начал я фотографией подрабатывать. Знаете, ходил по деревням с фотоаппаратом — все-таки свежий воздух! Аппарат я подержанный достал: на сапоги выменял, — все равно в Сибири сапоги ни к чему, разве там можно в сапогах? Особенно если пешком по снегу из деревни в деревню. А в деревне каждый сфотографироваться хотел, на фронт карточку послать. Денег с этого, конечно, много не соберешь, но прокормиться можно было. А кроме того, скажу я вам, в деревне в это

время жил исключительно женский персонал. А мне было тогда всего 23, руки-ноги на месте, ну и все остальное, — так что, сами понимаете, цены мне не было, хоть я был слегка припадочный после контузии, я был у баб нарасхват и имел сверх фотографии еще буханку хлеба каждый день.

В Е Н Я: Всего буханку — за такую работу?

А Р К А Ш А: Да, работа. скажу я вам, была не из легких! Бывало, по неделе, по две, в одной деревне жить приходилось: ни за что не отпускали. Иногда как подумаешь, сколько черноглазых ребятишек наплодил я по сибирским деревням, даже страшно становится — это ж целый народ!

А С Т Р О В: А где же наш Алик? Вряд ли он из этих деток?

А Р К А Ш А: А вы не спешите — куда спешить? И до Алика очередь дойдет. Раз надо было мне проехать по железной дороге. А вы знаете, как тогда ходили поезда? Если не знаете, — ваше счастье, и не дай вам Бог такое узнать. И вот подходит поезд к полустанку, а стоит он там всего-навсего минутку, так что проводница даже подножку спустить не успевает, а у меня, значит, в руках чемоданчик, а в чемоданчике все мое имущество: носки там, портянки и, конечно, фотоаппарат со всеми причиндалами. И билета, конечно, никакого — разве тогда билет можно было достать? Я чемоданчик сходу забрасываю в вагон, а сам прыгаю за ним — а проводница, сука, подножку не открыла, платформы там, конечно, никакой, так что я повисаю на руках из этого вагона, и поезд тут же трогается. И она меня начинает ногами по рукам, по рукам, чтоб я, значит, отцепился и выпал. Вы когда-нибудь пробовали, чтобы вас ногами по рукам, а поезд уже набрал скорость и мчится, как сумасшедший? Если не пробовали, так не дай вам Бог попробовать! Ну, я чувствую: конец мой приходит — и как заору. Вот тут Алик на мой крик и выскочил — в тамбур из вагона.

А Л И К: Вы даже не представляете, что это был за крик — меня как ветром из вагона вынесло, мы с мамой ехали.

Гляжу, на площадке никого, только проводница, дверь открыта, и что-то она такое топчет ногами, живое вроде. Мне сперва показалось, что это — крыса или кошка, а потом я понял, что это руки и что сейчас она эти руки выпихнет, и тут он снова заорал, прямо завыл, предсмертным таким воем.

А Р К А Ш А: Знаете, если б вы так повисели на краю вагона, как над пропастью, да вас еще трясет и качает на полном ходу, а в легком у вас торчит осколок и по рукам вашим ходят ногами, — вы бы тоже завыли.

В Е Н Я: А нельзя было раньше соскочить, еще до того, как поезд скорость наберет?

А Р К А Ш А: Ах, молодой человек, ну что вы знаете об жизни? Иногда такие случаи бывают — не дай вам Бог такие случаи узнать, — когда соскочить из поезда на станции еще страшнее, чем выпасть из него на ходу!

А С Т Р О В: Что, побили бы?

А Р К А Ш А: Если б только побили!

В Е Н Я: А за что?

А Р К А Ш А: За то самое.

В Е Н Я: А!

А Р К А Ш А: А кроме того — про чемодан вы забыли? Я же чемодан вперед закинул!

В Е Н Я: Ну, чемодан она бы вам сбросила.

А Р К А Ш А: Нет, вы меня просто смешите, — чтоб она чемодан сбросила! Да она за этот чемодан меня и топтала! Но зато потом — представляете? — когда Алик меня втащил в вагон полуживого, — у нее даже йод нашелся: ссадины мне на руках смазать. Что в русской женщине хорошо — что она зла не помнит.

В Е Н Я: А откуда у нее против вас зло могло быть?

А Р К А Ш А: Откуда я знаю? Но топтала она меня от всей души.

А С Т Р О В: А у вас против нее зло было?

А Р К А Ш А: Что я могу вам сказать — не еврейское это дело копить зло, на всех желчи в печени не хватит. А мы, евреи, люди удачливые и всегда выживаем, изо всех ситуаций, — если вы наших ситуаций не знаете, так не дай

вам Бог узнать! Теперь я думаю, вам понятно, почему слово Алика для меня — приказ?

А Л И К: (ударяя по струнам) Артиллеристы, Алик дал приказ!

А С Т Р О В: Заранее, выходит, продумал ловушку?

А Л И К: Скажи лучше — западно — звучит куда более драматично.

А С Т Р О В: А ты всего-навсего создал обстановку для дружеской беседы, да?

А Л И К: (ликуя) Именно! Именно для дружеской! Ну, где бы еще наш Веня мог чувствовать себя на столь дружеской ноге с начальством, — на равных, так сказать?

В Е Н Я: (чуть не со слезами) Ну почему, почему ты не дал мне выйти из машины там, на углу? И все было бы хорошо — сидел бы я сейчас дома...

А Л И К: ...и гадал, что будет, когда благородный доктор вышвырнет тебя на улицу с волчьим билетом?

А С Т Р О В: Вот что: ЗДЕСЬ я все это выслушивать не намерен!

А Л И К: Зато ТАМ вышвырнуть с волчьим билетом — намерен?

А С Т Р О В: ЗДЕСЬ мы обсуждать это не будем!

А Л И К: (благодушно) А что нам еще остается делать, раз Аркаша все равно нас к берегу не везет?

А С Т Р О В: (с холодной яростью) Так вот: не выйдет у тебя тут собрания с покаянием и осуждением, ясно? Я, во всяком случае, в нем участвовать не намерен (демонстративно отворачивается).

А Л И К: Как тебе угодно — спешить нам некуда, (трогает струны) Выпивка есть, закуска тоже, погода прекрасная, утомленное солнце нежно прощается с морем, (напевает) без тоски, без печали... вслед за солнцем выйдет луна, таинственная и холодная, к рассвету ветер разбудит волну, потом опять выйдет солнце, потом опять — луна, и так далее и тому подобное, ну разве не романтично? Вот только могут возникнуть трудности с разными естественными отправлениями. По малой нужде сходить за борт в общем-то несложно, но вот по большой, да ес-

ли у кого запоры — ой, и не спрашивайте, как трудно! И притом на глазах у подчиненных!

А С Т Р О В: Напрасно вы обратились к нему за помощью, Веня. Трудно представить, чтобы подобный шантаж мог улучшить ваше положение.

В Е Н Я: Вы что — думаете, я его просил? Да я б, если б только знал, ... Да я б... Я б с вами не то что в одной лодке... я б...я б...(голос его срывается).

А Л И К: Зря ты его так, Веня, зря! Ведь его только за одну любовь ко мне уважать следует.

А С Т Р О В: Придумал тоже — любовь! Да мы с тобой последний раз в жизни видимся!

А Л И К: Слышал я это — и не раз. Но пока ты жив, никуда ты от меня не денешься. На кого еще ты блевоти-ну свою извергнуть сможешь после очередного приступа служебного рвения?

А С Т Р О В: Пора бы тебе понять наконец, что я действую не от своего имени, а от имени дирекции...

А Л И К: А может, прямо от имени правительства? Ну сознайся: вызвали тебя непосредственно в правительство и потребовали, чтоб имя Венки Кагана не пятнало страниц наших уважаемых журналов? Веня, ты польщен таким вниманием к твоей скромной особе?

А С Т Р О В: Напрасно он польщен: было бы указание, ему было бы не до смеха!

А Л И К: Угу, выходит, ты проявил инициативу?

А Р К А Ш А: Что я могу сказать — проявлять инициативу тоже иногда опасно. Я как-то сфотографировал неприступную скалу на Чуйском тракте и на фотографии нарисовал белым лозунг: "Слава КПСС!" Отретушировал, конечно, и получилась, как живая, — не скала, а конфетка. Ну, сделали в Барнауле открытки, доход с этого не знаю какой большой имели, а потом какой-то ловкач решил эту скалу снять для фотоальбома "По родной стране". Ну, приезжает он на место, а на скале, конечно, никакой надписи нет. Ох, и шум поднялся: если вы такого шума не слышали, так не дай вам Бог услышать!

А Л И К: Видишь, к чему неумеренное служебное рвение приводит?

А С Т Р О В: Указаний не было, но намеки были.

А Л И К: А ты что, намеки на лету ловить обязан?

А С Т Р О В: Ясно, обязан — я лицо официальное! (Веня нервно смеется) Слушай, а почему ты только с меня спрашиваешь? Ты бы с него самого объяснения потребовал: зачем он на общем собрании со своим особым мнением высочил? Кого там его мнение интересовало, да еще по такому поводу?

В Е Н Я: По какому — "такому"?

А С Т Р О В: По щекотливому! (Веня смеется)

А Л И К: Ну, Вениамин, будешь отвечать?

В Е Н Я: Ну, не знаю... противно очень было. Каждый выходил на трибуну и в лицо себе плевал. И не утирался.

А Л И К: А промолчать нельзя было?

В Е Н Я: Ясно, нельзя было — всех по списку к трибуне вызывали.

А Л И К: Ах, по списку! Это ты придумал?

А С Т Р О В: Господи, конечно, не я! Но я обязан был подчиниться!

А Л И К: Какой же у Венки был выход, если ты подчинился?

А С Т Р О В: Другие же нашли выход. И ничего, никто не умер.

В Е Н Я: (тихо и упрямо) А я не мог. Я бы умер.

А С Т Р О В: (зло) Конечно, вы особенный! Вы — лучше других!

В Е Н Я: Я не говорю, что я лучше. Может, я даже хуже. Но я не мог.

А С Т Р О В: А, не мог — так чего ж теперь жаловаться? Все остальное — естественные последствия, не более.

В Е Н Я: А я и не жалуясь.

А С Т Р О В: Зато я жалуясь! В каком положении я по вашей милости оказался?

В Е Н Я: То есть, вы из-за меня пострадали?

А С Т Р О В: Именно из-за вас! Из-за вашего героизма!

В Е Н Я: (тихо) Что ж, простите.

А Л И К: Вот это поворот! А я, болван, и не понял, кто перед кем повиниться должен!

А С Т Р О В: (не слушая) Да что — я? Ведь всех, всех подвел! Правдоискатель! Весь институт под удар поставил!

В Е Н Я: Как же быть — так всю жизнь и лгать?

А С Т Р О В: Лгут же другие.

В Е Н Я: А для чего? Для общей пользы?

А С Т Р О В: Да, если угодно, — для общей пользы! Лгут всю жизнь, и в этом больше героизма, чем в вашем одиноком вопле. Да и не вопль это был, а писк! Кто его слышал? Кто понял? Кому он был нужен?

В Е Н Я: Мне он был нужен.

А С Т Р О В: Ясно — вам! А до общей пользы вам дела нет, ее вы презираете, не так ли? А я вот всю жизнь это поле пашу, чтоб хоть крупицу да сберечь!

А Л И К: И много сберег?

А С Т Р О В: Сколько б ни было — все мое! Это проще всего — осудить. А судьи кто? Конечно, самое милое дело — слинять на Камчатку, подальше от ответственности, и разыгрывать из себя рыцаря без страха и упрека. Это просто, это каждый может.

А Л И К: Ты бы, положим, не смог: очень суету любишь.

А С Т Р О В: (закусив удила) ...Или на общем собрании на трибуну выскочить и пропищать свое гордое, одинокое и возвышенное "НЕТ!". И все разрушить враз! А о других людях вы подумали, о тех, чьи головы вместе с вашей полетят?

В Е Н Я: Это вы о тех, которые по команде в лицо себе плевали?

А С Т Р О В: Ну что вы знаете о плевании себе в лицо?

В Е Н Я: Не знаю и знать не хочу!

А С Т Р О В: Ясно, не хотите — разве вы хоть за что-нибудь в ответе?

А Л И К: Черт, это ты, оказывается, всю жизнь был герой, а мы и не ценим!

А С Т Р О В: (захлебываясь словами) ...ничего вам не до-

рого, ничего не свято, на все плевать! Чужие, чужие, всем и всему чужие!

А Л И К: Это ты насчет безродных космополитов, что ли?

А С Т Р О В: Именно безродных — без корней, без традиций, без почвы!

А Л И К: А как там насчет Иуды и 30 сребреников?

А Р К А Ш А: (испуганно) Алик, ты же знаешь, как я тебя уважаю! Но, по-моему, ты неправ. Люди приехали отдохнуть, приятно провести время, а ты вдруг ни с того ни с сего...

А С Т Р О В: ... разве вы можете понять, что у этого народа своя мораль (Веня смеется), да, да, мораль, и ничего смешного в этом нет! Своя мораль, свой путь, своя избранность...

А Л И К: Хорошо поешь — дай списать слова!

А С Т Р О В: ...а вы, ослепленные гордыней, выскочки, в азарте самоутверждения готовые разрушить и распылить ценности, вам не принадлежащие...

А Л И К: Тебе что, моча в голову ударила? Так от этого есть средства — народные, так что ты их вполне одобришь...

А С Т Р О В: ...а мы и не заметили в наивности своей, как обросли еврейством до макушки — нам подсунули все, — друзья, жены, идеи, даже священники, и те...

А Л И К: У него затмение рассудка! От этого только купанье в холодной воде может спасти! (встает) Веня, будешь ассистентом!

А Р К А Ш А: (в панике) Ах, боже мой, ну что же это такое! Это же совсем ни к чему!

А С Т Р О В: ... и вы уже чувствуете себя хозяевами нашей культуры!

А Р К А Ш А: Лучше я покажу вам свою лодку: вы думаете — это обыкновенная лодка, а это НЕобыкновенная лодка!

А С Т Р О В: ... ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви...

В Е Н Я: Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать?

А Л И К: Ну и защищал бы нашего Бога, что ж ты?

А Р К А Ш А: (почти плача) Ах, ну при чем тут Бог? Никакого Бога вообще нет, все это знают! Вы лучше посмотрите, какой я вам сюрприз приготовил!

А С Т Р О В: (тоже вскакивает) Вот, вот оно: даже этот недочеловек знает, что Бога нет.

А Р К А Ш А: Вы думаете — это лодка? Так это не лодка, это — птица! Вот сейчас я нажму на кнопку — и она полетит!

В Е Н Я: (тоже вскакивает) Это — недочеловек, а те — на собрании — люди!

А Р К А Ш А: (стараясь перекричать всех) Вы даже не поверите, как она летает! На подводных крыльях! Вы слышали про подводные крылья? Если нет, так сейчас услышите! Внимание! (нажимает на кнопку, лодка взлетает на миг над поверхностью воды и переворачивается килем вверх. Все четверо исчезают под водой, затем лодка всплывает килем вверх, и один за другим выныривают: Аркаша, Алик и Астров. Отплываются, тяжело дыша, плавают, держась за опрокинутую лодку).

А Р К А Ш А: Все живы?

А С Т Р О В: Ну и взлетели!

А Р К А Ш А: Плюньте в глаза тому, кто скажет, что Балтийское море теплое.

А Л И К: А Венька где? (ныряет).

А С Т Р О В: (Аркаше) Это и был ваш сюрприз?

А Р К А Ш А: Нет, вы видели что-нибудь подобное? Чтобы лодка взяла и перевернулась!

А Л И К: (выныривает и озирается, тяжело дыша). Нет Веньки? (замечает что-то с другой стороны лодки, ныряет и через мгновение появляется, поддерживая Веню, который кашляет и отплывается. Оба хватаются за лодку).

В Е Н Я: Очки... Очки утонули... (кашляет).

А Л И К: Бог с ними... Хорошо, сам не утонул.

А Р К А Ш А: Нет, как вам нравится эта лодка? Чтоб взять и так перевернуться?

А С Т Р О В: Это что, тоже заранее было запланировано?

А Л И К: Нет, было запланировано, чтоб ты тонул, а Венька спасал тебе жизнь, но он, оказывается, не умеет плавать!

А С Т Р О В: Вряд ли он стал бы меня спасать...

В Е Н Я: Не судите по себе...

А Л И К: Ты б на его месте не стал?

А Р К А Ш А: Ну что вы прохлаждаетесь? Дело надо делать, а не прохлаждаться.

А С Т Р О В: Какое дело?

А Р К А Ш А: Как какое? Лодку переворачивать будем.

А Л И К: Опять переворачивать? Одного раза тебе мало?

А Р К А Ш А: Я очень люблю этих шутников с их шуточками! Или ты не замерз?

А Л И К: Ладно, уговорил — будем переворачивать. Не ясно только, как.

А Р К А Ш А: Очень даже ясно: заплывем все с одной стороны и будем раскачивать, пока не перевернем.

А Л И К: А если не выйдет?

А Р К А Ш А: Что значит — не выйдет? У нас же нет другого выхода!

А С Т Р О В: Ну а все-таки — если не выйдет?

А Р К А Ш А: Я вам даже удивляюсь — как это может не выйти? Или вы мечтаете, чтоб утонуть?

В Е Н Я: А до берега далеко?

А Л И К: Ты же все равно не умеешь плавать.

А Р К А Ш А: Я думаю, километров семь-восемь, не меньше.

А С Т Р О В: Тут и уметь плавать не поможет. Особенно в таком холоде.

А Р К А Ш А: Я вижу, вам очень хочется утонуть. Другие давно бы уже перевернули лодку, а вы говорите, говорите. Ну о чем тут говорить?

А Л И К: Ладно, начали — заодно и согреемся!

Все четверо начинают раскачивать лодку, пытаясь ее перевернуть .

А Р К А Ш А: Раз-два, взяли! Ну, еще! И еще! И еще!

Под их давлением лодка выскальзывает и отплывает чуть-чуть, нисколько не собираясь переворачиваться. Венька, теряя опору, сразу захлебывается и хватается за лодку. Так под нестройные выкрики повторяется несколько раз, пока все в изнеможении и тяжело дыша не приваливаются к упрямому днищу.

А Л И К: Ну и скользкая, тварь!

А Р К А Ш А: Ничего, сейчас отдохнем и снова навалимся!

А Л И К: По-моему, вообще нельзя, находясь в воде, перевернуть опрокинутую лодку.

А Р К А Ш А: Что значит — нельзя, если надо?

А Л И К: Лодка ведь, согласно законам физики...

А Р К А Ш А: Какие такие законы? Если безвыходное положение, любые законы можно нарушать, не то что физики.

А С Т Р О В: И часто вы законы нарушали?

А Р К А Ш А: Интересно, как бы я до шестого десятка дожил, если б не нарушал? И притом учтите: все это время я был еврей!

А Л И К: Ладно, кончили перекур, — взялись!

Опять повторяется та же сцена: несмотря на все усилия, лодка выскальзывает и возвращается в опрокинутое положение.

А Л И К: Ничего не получится — у нас нет точки опоры.

А Р К А Ш А: Так что — пропадать из-за этой точки опоры, раз ее нет? А ну, взялись!

А Л И К: Давайте, давайте, не отвлекайтесь, а то стемнеет скоро.

Действительно, солнце тем временем спустилось почти до самой воды.

Все четверо опять безуспешно пытаются перевернуть лодку. Астров вдруг отплывает и кричит истерически.

А С Т Р О В: Хватит! Баста! Это безумие! Не может эта лодка перевернуться, это даже младенцу ясно! Господи, как это все нелепо, как нелепо! Где мы? Что мы тут де-

лаем? Как все это случилось? Я не хочу этого, не хочу, не хочу!

Все ошеломленно смотрят друг на друга .

А Л И К: Ну, не хочешь, так что? Есть альтернатива?

А С Т Р О В: Это все из-за тебя! Из-за твоей дурацкой затеи! Ты этого хотел? Этого, да? Скажи — ты этого хотел? Теперь ты доволен?

А Р К А Ш А: Видите, мы лодку уже хорошо раскачали. Теперь рывок-другой — и все будет хорошо. Вернемся домой, раздавим бутылочку...

В Е Н Я: Бутылочки все утонули.

А Р К А Ш А: Пусть это будет наша последняя забота.

Бутылочка всегда найдется, на то мы в России живем.

А С Т Р О В: Господи, и этому идиоту ты доверил наши жизни! Он даже лодкой управлять неспособен! Это надо уметь — перевернуться ни с того ни с сего! Теперь мы тут захлебнемся, как котята в сортире, исчезнем из жизни, пропадем, и никто даже не догадается, куда мы делись.

А Р К А Ш А: Зачем обязательно пропадать? Лучше навалимся еще разок — и перевернем.

В Е Н Я: Да не перевернем мы ее! От воды, что ли, мы отталкиваться будем?

А Л И К: И почему ты так любишь пессимистические решения? Какая разница, от чего отталкиваться, главное — оттолкнуться! Взяться!

А С Т Р О В: Господи, к чему столько усилий? Ведь это безнадежно.

А Р К А Ш А: Пока человек жив, он должен надеяться. Начали!

Аркаша, Алик и Веня пытаются перевернуть лодку — безуспешно.

А С Т Р О В: (в стороне) Веня, зачем вы возитесь с этим корытом? Вы же уверены, что ничего не выйдет.

В Е Н Я: А я — как все.

А С Т Р О В: (заходясь в крике) Бросьте вы это, бросьте! Хватит! Все равно ничего не выйдет! Прекратите! Хватит!

А Р К А Ш А: А вам жалко, если мы немножко согреемся?

Все попытки действительно безуспешны, солнце спускается все ниже. Наконец Алик и Веня сдаются.

А Л И К: Нет, баста! Похоже, это и впрямь безнадежно.

В Е Н Я: (дрожит) Ну и холод! Б-р-р!

А Р К А Ш А: Что значит — безнадежно? Конечно, на что может надеяться человек, который дрожит, вместо того, чтобы работать? (продолжает толкать лодку).

А Л И К: Ты что, один хочешь ее перевернуть?

А Р К А Ш А: А если я переверну ее один, ты что — откажешься в нее сесть?

А С Т Р О В: Ну что — пора подводить итоги? Я так понимаю — песенка наша спета! Черт, какая глупость, как не хочется умирать!

В Е Н Я: Неужели нет выхода?

А С Т Р О В: Какой может быть выход? Вряд ли кто-нибудь найдет нас здесь.

В Е Н Я: У нас во дворе этой зимой мальчик пропал — страшно вспомнить. Лет девяти. Искали его, искали и только весной нашли: он провалился в канализационный люк, крышка была приоткрыта, а щель засыпало снегом, наверно. Он умер от голода или замерз, не знаю точно, — но сколько-то времени он сидел в этой яме и ждал, надеялся, что его найдут. Говорят, он поседел от ужаса.

А С Т Р О В: Мы посесть не успеем. При такой температуре мы через часок-другой так ослабеем, что захлебнемся не поседев.

А Р К А Ш А: (который все это время, не переставая, толкал лодку, вдруг кричит пронзительно) Караул! Спасите! Тонем!

А Л И К: Кому это ты?

А Р К А Ш А: Если кричать, кто-нибудь может услышать, (толкает лодку).

А Л И К: Кто здесь есть, интересно?

А Р К А Ш А: Все может быть: рыбаки, например, или влюбленные, (кричит) Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я: Господи, даже уши заткнуть нельзя!

А С Т Р О В: Чего затыкать — уж терпите: ведь всем погибать из-за вас! В поисках справедливости! Уж теперь наконец справедливость восторжествует!

В Е Н Я: Может, я прощения у вас попросить должен? А я ведь из-за вас в этой проклятой лодке оказался — что вашу больную совесть лечить. Кажется, именно ваша совесть была в центре внимания? А я? При чем тут я? Мне какое дело до вашей совести? Зачем мне понадобилось ехать с вами? Ведь я даже маму не предупредил, ее дома не было! Теперь она никогда не узнает, куда я делся. Господи, никогда не узнает! Ведь она с ума сойдет, с ума сойдет!

А Р К А Ш А: (кричит) Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я:...и я даже не смогу ей объяснить, что все это из-за вас, из-за вашей совести...

А С Т Р О В: Далась вам моя совесть, подумали бы о своей! Ведь жить не больше часа осталось, а вы...

А Л И К: Бросьте выяснять, кто виноват! Лучше б сосредоточились на том, как спастись...

А С Т Р О В: Да никак! Никак не спастись! (истерично). Крышка нам! Хана! Конец! Все!

В Е Н Я: Как это — конец? А мама? Ведь ей никто никогда не расскажет, как это случилось! Разве так бывает?

А С Т Р О В: Бывает, бывает — скоро убедитесь!

А Р К А Ш А: (пронзительно) Караул! Спасите! Тонем!

А С Т Р О В: А потише нельзя?

А Р К А Ш А: (нормальным голосом). Если потише, так никто не услышит, (пронзительно) Караул! Спасите! Тонем! (в промежутках между криками исступленно толкает лодку)

В Е Н Я: (истерически хохочет) А если громко — кто услышит? Кто может услышать? (заходится в хохоте). Может, мама услышит? Мама, ты слышишь, мы тонем! Караул!

А Л И К: Прекрати! Умолкни! Сейчас же прекрати!

Веня хохочет как безумный.

В Е Н Я: (захлебываясь истерическим хохотом) Тонем! Спасите! Тонем! Мама!

А Р К А Ш А: (перекрикивая Веню) Караул! Спасите! Тонем!

А С Т Р О В: Слушай, уйми своих дружков! А то мы до того, как сдохнем, еще с ума сойдем!

В Е Н Я: Ха-ха-ха! Сдохнем! Спасите! Мама! Ха-ха-ха! Тонем!

А С Т Р О В: (перекрикивая) Уйми их, уйми! Заткни им глотки!! Ты, супермен, уйми их! Уйми-и-и-и! (визжит) И-и-и!

А Р К А Ш А: (перекрикивая всех) Караул! Спасите! Тонем!

А Л И К: (подплывая к Вене, хлещет его по щекам) Перестань! Прекрати истерику!

В Е Н Я: (внезапно стихая, почти шепотом) Мама, что это было? (всхлипывает)

А Л И К: (ласково) Ну, вот и прошло, вот и хорошо!

А С Т Р О В: Хорошо, очень хорошо! Просто замечательно!

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я: Алик, неужели и правда — смерть? Неужели смерть?

А Л И К: Вень, тебе сколько лет?

В Е Н Я: Двадцать восемь! (плачет) Всего двадцать восемь! Ой, как холодно, ноги сводит! Что же это будет? Что будет? Что будет?

А С Т Р О В: Скоро ничего не будет.

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

А Л И К: Нет, так не годится! Надо что-то делать!

В Е Н Я: Что можно сделать?

А Л И К: Чего мы тут болтаемся? Чего ждем? Смерти?

А С Т Р О В: А чего же еще ждать? Ангела-спасителя?

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

А Л И К: Что угодно, только не это! К берегу надо плыть, вот что!

АСТРОВ: Восемь километров?
 АЛИК: Хоть сто, но не болтаться тут, ожидая конца!
 ВЕНЯ: Ведь не доплывешь.
 АЛИК: Ну, не доплыву, ладно! Но хоть плыть буду, а не висеть тут, сходя с ума. Плыть буду, плыть, руками махать, понимаешь? Что-то делать, а не смерти ждать!
 ВЕНЯ: Понимаю, но не умею плавать.
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 АЛИК: Ну, кто со мной?
 ВЕНЯ: Предположим — я, тогда как?
 АЛИК: Поплыли, будешь за меня держаться!
 ВЕНЯ: И далеко мы уплывем?
 АЛИК: Не дальше смерти.
 АСТРОВ: А если и я с тобой — ты двоих увезешь?
 АЛИК: Хуже, чем здесь, не будет.
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 ВЕНЯ: А его куда? Бросишь? Или третьим возьмешь?
 АЛИК: (кричит) Чего вы допытываетесь? Чего вам надо? Плывете вы или нет?
 АСТРОВ: А если нет — ты нас бросишь?
 АЛИК: Что значит — брошу? Вы же сами говорите, что не доплыть!
 АСТРОВ: Но ты же тренированный! Ты-то надеешься доплыть!
 АЛИК: А тебе жалко, если я доплыву?
 АСТРОВ: Конечно, жалко! Что ж — я подохну, а ты жить будешь?
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 АЛИК: Ты бы хотел, чтобы мы вместе подошли?
 АСТРОВ: Или чтоб ты подох, а я жил!
 АЛИК: Ты ведь всю жизнь мне завидовал, правда? Дружил и ненавидел?
 АСТРОВ: А ты мне завидовал! И ненавидел тоже! И жить без меня не мог!
 АЛИК: Это я без тебя не мог?
 АСТРОВ: Конечно, ты! Чтоб непрерывно и постоянно надо мной возвышаться. Чтоб, исправляя меня, всегда

чувствовать свое превосходство! И скрежетать зубами от зависти, видя мои успехи!
 АЛИК: Что мне твои успехи?
 АСТРОВ: А то тебе мои успехи,...
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 АСТРОВ: Тише, ты, дай поговорить! (Алику). Ну что ты без меня — неудачник, и все! Дальше Камчатки уже ехать некуда, только поэтому ты там застрял. А при мне ты всегда как бы утверждаешь, что принес свою карьеру в жертву. Но в глубине души ты знаешь прекрасно, что никакой карьеры сделать не мог по безалаберности и неспособности!
 АЛИК: Вот ты, значит, как! Ну что ж, прощай, и оставь с этими утешительными мыслишками!
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 АСТРОВ: Значит, ты хочешь уплыть и бросить нас тут?
 АЛИК: А ты хочешь, чтобы я остался?
 АСТРОВ: Тебе что, мое разрешение необходимо? Так вот: моего разрешения ты не получишь!
 ВЕНЯ: Ну что вы, доктор, пусть плывет: вдруг и вправду доплывет? Может, даже кого-нибудь за нами пришлет, а?
 АСТРОВ: Как же, так он и доплыл! Хоть он и супермен с Камчатки, но все равно, захлебнется на полпути и, пуская пузыри, пойдет на дно, где-то там, один-одинешенек!
 АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!
 ВЕНЯ: Все равно, каждый умирает в одиночку. Был такой роман с красивым названием, только я тогда не понимал смысла этих слов. Только тот, кто сам умирает, может понять. А теперь я понял. Выходит, я умираю! Но не может же быть, чтобы Я! Я! Я! умирал! Ведь еще час назад все было в порядке! И не было никакого знака или предупреждения! Ведь так же нельзя!
 АСТРОВ: Я уже ног совсем не чувствую, пальцы онемели...
 АЛИК: Нет, вы как хотите, а я поплыл! Лучше утонуть посреди моря, чем болтаться тут в нашей общей моче, по-

дыхая постепенно: сперва отнимутся ноги, потом руки, потом мозги... Лучше я захлебнусь в волнах, чем буду тут сходить с ума!

А С Т Р О В: Если ты доплывешь, мы будем сниться тебе по ночам!

А Л И К: Если я выплыву, я пошлю за вами лодку.

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

А С Т Р О В: Спасители приплывут, а тут пусто-пусто! Только эта склизкая посуда болтается на волнах да пузыри на воде — остатки нашей агонии.

А Л И К: Значит, надо спешить! Пока ноги судорогой не свело. Прощайте!

А С Т Р О В: Как, уже уплываешь? Так сразу?

В Е Н Я: Ведь не было никакого знака! И вдруг всему конец! Так же не бывает! Вот так вдруг, без всяких... (рыдает). Не бывает! Не бывает так! Не бывает!

А С Т Р О В: (надрывно) Ты уплывешь? А я? А я? Как же я?

А Р К А Ш А: (пронзительно) Караул! Спасите! Тонем!

А Л И К: (отталкиваясь от лодки). Все! Баста! Еще минута — и я сойду с ума! (уплывает)

А С Т Р О В: (вопит) Алик! Вернись, Алик! Куда ты? Ведь пропадешь! И тут, и там пропадешь, так хоть вместе! Алик, подожди! (уплывает вслед за Аликом).

В Е Н Я: Ну вот, теперь я совсем один, и мамы нет — если бы она знала, если б знала! (плачет) Мама! Мама, я тону, мама! Слышишь, мама, я тону, тону, тону... (бормочет). Я тону, я тут совсем один, до берега так далеко, вода такая холодная, ног я уже не чувствую, и пальцы на руках свело... А ты! Ты всегда уверяла, что сразу же узнаешь, если со мной что неладно, и потому не позволила мне жениться на Наташе: говорила, сердце тебе подсказывает, что мы не будем счастливы. А сегодня с утра, когда он за мной заехал неожиданно и позвал к морю на лодке кататься, сердце тебе ничего не подсказало: ты ушла спокойно по своим делам, по своим глупым, ерундовским делам...

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я:... а могла бы не пустить, ты ведь часто меня не пускаешь. Сказала бы, что я обещал пойти с тобой навеситить тетю Фаню, и все было бы хорошо: сидели бы мы с тобой сейчас дома, вдвоем, я бы валялся на диване, а ты — в кресле в своем дурацком нейлоновом халате с розовыми цветами, которым ты так гордишься, нашла, чем гордиться, дура старая... Мы бы смотрели телевизор, кисли бы от скуки, ты бы пилила меня, что я тебе ничего не рассказываю, а я бы ненавидел тебя, как всегда по вечерам, особенно по воскресеньям, за то, что мне некуда пойти, и за то, что ты не позволила мне жениться на Наташе...

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

Медленно подплывает Астров, с трудом дыша, и цепляется за лодку.

А С Т Р О В:... (бормочет) вот и все, теперь уже точно все. Он уплыл, бросил меня, и теперь наконец я от него освободился. Всю жизнь терпел, всю жизнь боялся — потерять боялся, отпустить боялся, слова его боялся, что осудит, и что он в Ленинград жить переедет и каждый день в гости приходиться станет, боялся, что в отпуск с Камчатки приедет и не придет, не позвонит, забудет. Боялся, что она пожалеет, что не его, а меня выбрала, и что они между собой за моей спиной сговорятся, — боялся, и что она его неудачником назовет и в дом однажды не впустит — за его баб, и за его дебоши, и за те обидные слова, которые он всегда для меня находил, — всего, всего боялся. А теперь он уплыл один и утонет там, так что никто и не узнает, как и где он утонул, а я за ним не угонюсь: куда мне за ним, он чемпион, он — супермен, герой романов, бабник, ему все всегда было нипочем, не то что мне... Мне так и положено: бултыхаться в собственной моче среди этих недоделков...

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я:... я уже и рук не чувствую, а ты там сидишь, пасьянс свой дурацкий раскладываешь, сидишь и злишься, что я где-то гуляю, домой не иду, с кем-то болтаю, а не с тобой. Ведь я — твоя игрушка, твоя собственность.

и не имею права с другими по вечерам в кино ходить или даже чай пить, а уж обедать и подавно. Только твои котлетки мне есть положено, с тобой дружить, только тебе доверять, потому что все остальные негодяи и обманщики. Вот только женить меня на себе ты не смогла, — стара ты для меня, слишком поздно ты меня родила, чтоб я на тебе жениться мог, вот и хожу холостой. На ком бы я мог жениться, если не на тебе? Что Наташа против тебя, а уж Юлька, та и подавно не годится для такого сокровища, как твой сыночек, — ему ни одна женщина не подойдет, кроме тебя! (хохочет). А я вот обману тебя! Возьму и утону! И вообще не женюсь, — ни на ком, никогда, и не будет у тебя внуков и внучек, никого не будет, и меня тоже не будет. Возьму и утону, раз ты не хочешь спасти меня! Мама! Ну спаси меня, мама!

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

А С Т Р О В: А теперь я его больше не боюсь, потому что он все равно раньше меня утонет: волной его захлестнет, он и захлебнется, а я все же за лодку пока держусь, вот мне и не страшно. Я теперь что угодно сделать бы мог, любую подлость совершить, и никто ничего мне не скажет, а и скажет, так мне плевать, кто, кроме него, мог бы меня попрекнуть, она, что ли? У нее на это кишка тонка, а его уже нет и никогда больше не будет. Господи, никогда не будет? Как же теперь без него? Или, может, вот оно и есть — избавление, а? И ей без него никакого смысла нет жалеть, что она за меня вышла, и меня же еще попрекать, что я его больше, чем ее люблю, и что я на ней потону и женился, что он по ней всю жизнь помирал, вот я к нему через нее и прикоснулся. Он-то помирать помирал, а с девками при том вечно гулял, да и не с девками даже, а со шлюхами, такими, что диву все давались, где он только их брал. Так ни к чему ей вовсе было мне его в пример ставить — хорош примерчик!

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я: Мама! Или ты притворяешься, что не слышишь? Или ты, может, от меня просто устала, раз я такой неудачный, а, мама? Так смотри, потом пожалеешь, да поздно.

меня уже не будет, и не будет, и не будет, и не будет! И кого станешь тогда ждать по вечерам и упрекать, что поздно пришел? И с кем на концерты в филармонию ходить, ради кого надевать свой светлый брючный костюм — в надежде, что кто-нибудь воскликнет: ах, какая милая дама с вами, Веня! а я отвечу: это не моя дама, это моя мама; и тот, что спрашивал, воскликнет: нет, вы шутите! Такая молодая? И никогда я уже не увижу твою старую морщинистую шею, не пожалею тебя, что уже старая, а сама не понимаешь, какая ты старая. И не буду вечно бояться, что можешь заболеть и умереть, и иногда мечтать об этом, чтобы хоть через смерть твою вырваться от тебя и побежать вечером в кафе с ребятами или позвонить Наташе, это еще до того, как она замуж вышла, или в горы с рюкзаком пойти, и чтоб никто мне голову не морочил, что мне того нельзя и этого нельзя, и чтоб некому было ревновать и торчать поздно вечером у окна, поджидая, когда я вернусь. Меня не будет, и я перестану злиться, что ты меня сторожишь и мои разговоры вечно подслушиваешь — ты ведь нарочно параллельный аппарат делала, чтобы подслушивать? И ничего, ничего больше не будет...

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

На сцену медленно вплывает, скорее, влетает, лодка, в которой трое: Алик, ЖЕНА Астрова — немолодая элегантная дама и Венина МАМА — в нейлоновом халате, она раскладывает пасьянс. В руках Алика гитара, он наигрывает "Утомленное солнце", жена Астрова тихо подпевает. Солнце почти спустилось, оно висит над морем, касаясь линии горизонта, алое и огромное, — вся эта сцена происходит в закатном малиновом сумраке.

А С Т Р О В: (в сопровождении гитары) ...в этот час ты призналась... И напрасно, никогда не следует признаваться, так верней... И напрасно вы думаете, что со мной покончено, (кричит) Эй, ты, в лодке, ты зачем ее сюда притащил? Чтоб она своими глазами увидела, как я пузыри пускаю? Надеешься, она после этого тебя больше полюбит, да? Так она всю жизнь тебя любила, а меня все же

предпочла, потому что я надежный, — она ведь расчетливая, ты ее не знаешь. Или знаешь? Она ведь никогда не хотела, чтоб ты у нас останавливался или даже ночевал иногда и чтоб я к тебе на Камчатку ездил, тоже не хотела: ревновала тебя ко мне, а меня к тебе и боялась благополучие свое потерять. Благополучие, построенное на сделках с совестью... моих и ее...

В Е Н Я: (перебивает) Я так и знал, что ты услышишь, что ты меня не бросишь. Ведь он затем и уплыл, чтоб тебя за мной прислать. Ведь это он во всем виноват, он меня за собой сманил, чтоб через меня доктора Астрова унижить. Но ты об этом деле и слышать не слышала, я бы тебе ни за что не рассказал, хоть ты всегда все обо мне знать хотела, во все нос совала, а я вот не сказал, и все. Я не рассказал, вот ты и не знаешь. Да что за толк тебе говорить? Ты бы только плакала, глотала валерьянку и пилила бы меня, а то еще лучше — напялила бы свой светлый брючный костюм и пошла бы к Д.А., как ходила когда-то к классному руководителю "Ах, какая у тебя молодая мама, Веничка!" Ты ведь не соображаешь, что я уже взрослый, а ты уже старая, как утомленное солнце, и пора тебе прощаться с морем, все равно никого ты обольстить уже не способна...

А Р К А Ш А: (крик его все слабее, перерывы между выкриками больше, но все же он время от времени пытается толкать лодку) Караул! Спасите! Тонем!

Алик роняет гитару. Вздрогнув, Жена Д.А. приникает к нему — они целуются.

А С Т Р О В: Ну и как — нравится? Ведь ты всегда мне завидовал, что я с ней сплю, что она моя. А завидовать-то нечему было! Грудь обвисли, шея обвисла, кожа шершавая, и главное — она же фригида! Ей-Богу, совершенная фригида! Всю жизнь норовила избежать, притвориться спящей или больной и так скучала, что и у меня всякую охоту отбивала. Или ты знаешь? А может, ты знаешь даже, что это она только со мной фригида? Ведь было у вас что-то, было? Недаром она ни за что не соглашалась, чтоб

ты у нас хоть раз ночевать остался — не могла перенести, что ты ее со мной в постели увидишь!

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

От этого крика Бенина Мама роняет карты, смотрит на часы, в ужас прижимает руку к сердцу и озирается дико. Заметив целующуюся парочку, бросается к ним.

В Е Н Я: Да брось ты ревновать, не я это. Куда мне — я ведь только в прошлом году на Камчатке с женщиной в постели оказался в первый раз, а то все боялся: ты так меня запугала и стреножила, что я никак решиться не мог, все мне казалось, что ты рядом стоишь и подглядываешь; Да и в тот раз на Камчатке ничего путного не вышло, и все из-за тебя, из-за тебя, да и девка какая-то грязная была, не знаю уж, где Алик такую подобрал, и вдруг в самый такой момент я на нее твоими глазами посмотрел и ужаснулся: господи, да где это я? С кем это я? И все ты мне испортила, все, все испортила!

А С Т Р О В: (перебивая) Да и ты ведь уже не тот, так что, может, теперь она для тебя даже слишком хороша: ведь у тебя и триппер был, я знаю, ты не думай, мне одна блядь твоя сказала, как ты мучаешься, потому что, конечно, долечить до конца у тебя терпения не хватило. У тебя никогда ни на что терпения не хватало, только и мог ты меня травить, вечно судьей моим представляться, и всю жизнь я, как мальчишка, у тебя в подчинении был, всю жизнь — у такого ничтожества, у блядуна с недолеченным триппером!

А Р К А Ш А: Караул! Спасите! Тонем!

В Е Н Я: Я ведь на Камчатку к Алику только для того и поехал, чтоб тебе назло: наврал тебе про командировку, а ты и поверила, а то б ни за что не отпустила, изобразила бы сердечный приступ или почечную колику, уж я тебя знаю. А там мы и пили, и гуляли, и на медведя ходили — вот это жизнь была! И так мне хорошо там без тебя было, так свободно, так весело!..

Лодка медленно разворачивается и начинает покачиваясь уплывать со сцены, как бы растворяясь в лилово-

алом сумраке, над горизонтом рдеет кровавая горбушка солнца. Гитара надрывно продолжает "Утомленное солнце".

АСТРОВ: Алик, куда ты? Вернись, Алик! Не обижайся, не надо, это я так сболтнул про триппер, и про девок твоих, и про все, — я ведь знаю, ты бы ни за что не признался! Ну прости, ну не бросай меня тут, А-а-али-и-и-к!

ВЕНЯ: Мама! Мама! Мамочка, куда ты? Ты же не хочешь, чтобы я, твой Веня, утонул! Ведь не хочешь? Это я все наврал, что мне без тебя хорошо было — мне никогда не было хорошо! Не было никогда! Не бросай меня здесь одного, ма-а-а-ама!

АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!

Лодка скрывается, в воздухе как бы повисает оборванный гитарный аккорд.

АСТРОВ: (к Аркаше) Ты, ублюдок, заткнись наконец! Ты спугнул их своими воплями, из-за тебя они уплыли! Он уплыл насовсем и бросил меня здесь! Бросил!

ВЕНЯ: Ах, ты так? Значит, ты хочешь, чтобы я утонул? Хочешь, да? Ладно, я ведь всегда тебя слушался, всегда делал все, что ты хочешь.. Раз так, я могу утонуть для тебя, раз ты хочешь... (отпускает лодку, оттолкнувшись от нее, тут же начинает захлебываться, поднимая брызги, и опять лихорадочно хватается за лодку)

АРКАША: Караул! Спасите! Тонем!

АСТРОВ: (подплывая к Аркаше) Не хочешь замолчать? Орешь? Ори-ори громче, ублюдок! (одной рукой пытается затолкать Аркашину голову под воду) Замолчи! Дай хоть умереть спокойно!

АРКАША: (вырываясь, вопит надсадно) Караул! Спасите! Тонем!

АСТРОВ: (толкая Аркашу) Замолчи! Замолчи! Замолчи!

В этот момент на сцену вплывает лодка, на этот раз реальная, в ней два рыбака.

1 РЫБАК: А ведь и вправду тонут. А то кричат, кричат — я думал: балуется кто.

2 РЫБАК: (вытаскивая Аркашу, который без сознания) Один есть, не дышит, но живой, (вместе со вторым вытаскивает Астрова) Глянь, а этот дышит. Холодные, видно давно в воде. Но должны быть живые, раз так громко на помощь звали.

1 РЫБАК: (вытаскивая Веню) Еще один, — сколько их всего? Все или еще есть?

ВЕНЯ: (бормочет) Мама, мама, Алика не забудь. Алик там плывает, мама!

1 РЫБАК: А кто Алик? Он где? (трясет Веню) Где Алик твой? Нет, сомлел, откачивать придется.

2 РЫБАК: Тех двух вроде тоже — откачивать и отправивать. Совсем заледенели.

ВЕНЯ: (в бреду) Алик там, мама! Алика не бросай! Алика!

1 РЫБАК: (трясет его) Где он, Алик твой? Слышишь, парень,— где Алик?

ВЕНЯ: Там Алик, где-то, мама!

2 РЫБАК: Да сколько вас было? Все тут?

Веня теряет сознание. Астров, приходя в себя, стонет.

1 РЫБАК: Этот вроде ожил немного. Эй, парень, вас сколько было?

АСТРОВ: Сколько было - где было? (роняет голову со стуком).

1 РЫБАК: (трясет его) Ты живой или нет? Сколько вас было — в воде?

ВЕНЯ: Алик!

АСТРОВ: (со стоном) А сколько есть?

2 РЫБАК: Трое есть, (он занят тем, что растирает Аркашу, который без сознания)

АСТРОВ: (тихо, почти беззвучно) Трое нас было.

1 РЫБАК: Значит, все тут?

АСТРОВ: Все, все тут. Все, все, все... (это полубред)

ВЕНЯ: (вскрикивает) Алик! Мама, Алика не бросай!

1 РЫБАК: А кто тут Алик?

АСТРОВ: Какой Алик?

1 РЫБАК: Да этот, все кричит про какого-то Алика. Где он, Алик?

В Е Н Я: Алик, Алик, мама, Алик...

2 РЫБАК: Так где же Алик?

АСТРОВ: Алик, Алик — какой Алик? Не знаю никакого Алика.

1 РЫБАК: Так был тут с вами Алик? (трясет Астрова). Где Алик?

АСТРОВ: Нет его. Нет и не было. Не было никакого Алика! (теряет сознание)

ЗАНАВЕС

Владимир МАРАМЗИН

ГОНЕНИЯ - ЕГО НАГРАДА

В нормальной стране поэты появляются, когда начинают писать и печатать стихи. У нас люди узнают о поэте, когда власть начинает его преследовать. Итак, в России появился еще один поэт — Алексей Хвостенко.

К моменту своего появления он успел уже прожить не меньше половины отпущенной человеку жизни, а неприятностей хватило бы и на целую, живи он в любой западной стране. Вот официальные данные: родился в 1940 году, окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухомовой, проживает теперь в Москве. Как видите, официальных данных немного. Все остальные неофициальные.

Одна его профессия — художник. Делай он что требуется, подкрашивай декорации счастливого детства или украшай конфетную коробку с видом избылиция нашей страны — жил бы Хвостенко не хуже других. Концы с концами сводил бы. Но он оказался художник

упрямый: хотел рисовать только то, что хотел. А кроме того, стал писать еще стихи. Стихи, говорят, никого не кормят, даже на благословенном Западе. Но у нас, если стихи хорошие, они не только не кормят, они отнимают даже тот хлеб, который был бы без них. Хорошие стихи отмечаются у нас самой высшей наградой: гонением — вплоть до тюрьмы или ссылки, вплоть до уничтожения. Примеры знают все: Клюев, Манделштам и Введенский сгинули в лагерях, Пастернака затравили в самые благословенные, в хрущевские времена, Бродского выкинули из страны, протащив через суд, психоэкспертизу и ссылку, а за его стихи продолжают кидать в тюрьму (Михаил Хейфец); Есенин, Цветаева и даже вполне советский Маяковский покончили с собой.

Никто не может сказать, что поэзия остается у нас незамеченной.

Ни как поэт, ни как художник Алексей Хвостенко не мог найти себе применения на родине. Кроме того, он хотел позволить себе роскошь быть порядочным человеком — это и вовсе поставило его вне закона. В 1969 году он отказался дать показания, нужные КГБ, на своего друга. Следователь весьма буднично заявил ему, что с этой минуты он может больше не рассчитывать печататься в СССР. Обстоятельства выкидывают поэта из страны, но он старается удержаться. Стихи его знают, есть друзья, с одним из них, Анри Волохонским, писались вместе пьесы, смешные касиды, песни. Четыре десятка их совместных песен стали широко известны. Вслед за песнями Окуджавы, Галича, Высоцкого они расходятся в магнитных записях по разным городам. Значит, поэт кому-то нужен. Но жизнь проходит. Редуют вокруг друзья. Вот уже и Волохонский вынужден уехать за границу. И логика говорит, что, если ты здесь не ко двору, если все тебя толкает отсюда — уезжай, как бы это ни было горько. Хуже не будет. 35 лет прожито на родине, она уже останется с тобой навсегда.

Но жизнь в нашей стране не подчиняется логике.

Стоило Хвостенко подать документы на выезд, он оказался нужен своей стране, своему правительству. Высокое стареющее правительство мировой державы вспомнило, что не вдоволь поиздевалось над веселым, над грустным ненужным человеком своего государства. В феврале этого года Хвостенко отказались дать разрешение уехать из Советского Союза. Многие не знают, что, подав заявление о желании уехать из страны, ты уже не можешь там спокойно жить. С этого момента ты становишься как бы опасно болен. Если ты работал, тебя стараются уволить, знакомые сторонятся, телефон ведет себя странно. Захотев уехать — ты уехать должен, поворота быть не может. Поэтому получение отказа означает прямую угрозу. Не зря такого человека называют "отказником" — слово, не совсем грамматическое в данном случае, оно звучит грустно, это не тебе отказали, говорит оно русскому уху, а это отказался ты: отказался по меньшей мере от всякого спокойствия, и надолго.

Вокруг Хвостенко сгущаются тучи. Им уже заинтересовался участковый милиционер, о нем наводят всякие справки, передают угрозы. Никто не может знать, что выпадет из этих туч. По опыту мы видим, что какая-нибудь беда обязательно выпадет. Не хочется называть ни одной из них по имени, чтоб не накликать.

Мы часто бросаемся защищать человека лишь тогда, когда неприятности его проявились достаточно сильно. Но я призываю всех — давайте не будем дожидаться ухудшения в нынешнем и без того тяжком положении Хвостенко. Поэт уже есть, и ему уже плохо. Может быть, если постараемся защитить его сегодня, ему не станет совсем плохо. Но мы об этом не пожалеем, не правда ли? И он не пожалеет об этом. Никто не пожалеет об этом.

Знаю по своему опыту: любые протесты, печатные, устные, в письмах, любые звонки из зарубежных городов, даже открытки с красивой иностранной маркой — помогают в подобных случаях. У нас есть одно преимуще-

щество: все это сходится в одно место, в наше верховное КГБ, в досье поэта, и голубые ребята решают, что с ним делать. Голубые ребята презирают поэта, неизвестного за границей. Они знают цену дутой советской славе и уважают только импортное. Если внимание к нему достаточно, поэта отпустят.

Да не придется нам сказать себе: может, это я не удосуужился послать письмо и еще один русский поэт оказался в тюрьме.

Вот адрес Хвостенко: Москва, Мерзляковский пер., д. 15, кв. 9, тел. 223.65.93. Алексей Львович Хвостенко.

27 апреля 1976 г.

Париж

Алексей ХВОСТЕНКО



ЗИМНИЙ СОНЕТ

Прощай, тепло! От ужаса снегов
Ищу небес прозрачных тонкий свиток
Ночь сгнула на запад, полдень пыток
Стучит в окно из прошлого веков

Ташусь без имени дорогой дураков
Несу трудов любви тяжелый слиток
Прощай, тепло, твой огненный напиток
Перебродил, и хмель твой далеко

Костер погас, уносит ветер пепел
Пронзительного дня гиперборей
Свистит, и, сорванная с петель,

Разбита дверь, и кружится над ней
 Воспоминаний боль. Среди полей
 Диск солнца золотой встает смертельно светел.

январь 1975

СВЕЧА

К.М.

О свет песка ее
 Чей пламень трут и камень
 Огонь воды ее
 Преобразится в пламень

О свет воды любя
 Тьма стен ее стенает
 И лишь ее любя
 Ствол пламени пылает

В объятьях сов уснул
 В поверхность воска шорох
 Подсвечник снов уснул
 Облокотясь на порох

О свет песка ее!

ноябрь 1974

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЛОДЕ ГРАНАТА

Как был начертан тонко плод
 Мы видели вдвоем
 В нем целый день хранился мед
 Перед ночным дождем

В нем целый век варился сок
 Чтоб отойти ко сну
 Он был начертан как цветок
 В персидскую весну

И среди невидимых светил
 Струящимся огнем
 К нему наш взор прикован был
 Чтоб стать его вином

ноябрь 1974

ДВЕ ПЕСНИ

1.

Слепой не увидел как море над лесом
 В стакане пылало у водки реки
 А в лодке сидели два пьяных балбеса
 И в сторону леса по небу гребли
 По небу гребли

Глухой не услышал как падают в парки
 Огарки медведей на рыб корабли
 А в клетках колес по следам зоопарка
 Росли самолеты, росли по земле
 Росли по земле

Глупец не узнал что есть умное средство
 Быть глупым до дней своей жизни конца
 А умный ту мысль получивши в наследство
 В соседстве с глупцом лишь блистал иногда
 Блистал иногда

Поэт не пропел что другие поэты
 Ни песен не знают не знают стихов
 А спел он про то что и эти куплеты
 Одеты в лохмотья и тень этих слов
 Лишь тень этих слов

2.

Свет прольется над землей
 Звезды падают на крышу
 Птицы улетели вдаль
 Мне все это только снится

Будет сад цвести весной
 Яркий плод созреет летом
 Пусть зимой кружится снег
 Осень спит в душе моей

Вяжет дева кружева
 Белый шьет наряд невеста
 Женщина откроет дверь
 Мне ж все это только снится

Утро приумножит скорбь
 День взмахнет крылом надежды
 Пусть придет с любовью ночь
 Вечер спит в душе моей



Анатолий ЖИГАЛОВ

КАКИЕ-ТО ПРЫЖКИ

мы кенгуру на горе забытой
 разрываем сады бегущих рек
 нам рек Он
 бойтесь черных скал
 весь мир гулял как солнце светел
 и дом и старый дот и
 черный дым отживших свечек
 вот наш обряд
 несли луну и горе всем
 забывшим стих и страх
 но вот произнесли магические строки
 о роке
 песнь что поют когда баюкают
 и убивают
 бывает

приносят соль из голубых развалин
 площадка неги и мечты
 разграблена дождем и бомбой
 из безнадежности рождается чума
 летят осколки в бездну

1961

X X X

что дом — случайное пристанище
 для утомленного в ночи
 хлебни хмельного ветра и кричи
 что утлой лодкою останешься

остынет берег и волна
 устанет гладить твои плечи
 и усыпят твою усталость речи
 что ты одна одна

а дна не видно в дивной пустоте
 лишь звездам ведомо где падать
 не им ли вымостить дороги ада
 не те совсем не те

ни тени не падет ни света
 на бесприютном берегу
 волна подхватит на бегу
 осколок ледяной ответа

1966

Ленинград

X X X

я знаю как трудно внезапно открыться
 как сладостно ветру в незнание сгорать
 на жертвенном пламени жажды открыться
 где грозы и горы — низвергнутых рать

и верным остаться себе святотатцу
 на семь замков свое знание укрыть
 заимкой забытой с молчаньем смыкаться
 весеннею наледью на море плыть

но риск он как искра карающей мысли
 что если ослабнут подпруги Пергаса
 ты рухнешь Икаром на кремнистом мысе

И лепет неловкий My home is my castle
 ведь жалок: так пламенем праведник взмылся
 в ликующем страхе погаснуть погаснуть

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ

просто: стеклянная мгла
 хрустнет однажды со звоном
 стеклярусы сонных вагонов
 пронзит световая игла

в беженцы или в плен
 в нежность — билет из окошка —
 взглядом эдгаровой кошки
 в оцепенелый цемент?

значит зверинец — распродан
 в общем — зверинец распался
 словом теперь — иль за пяльца
 иль упивайся разбродом

просто но несколько пресно
 ясно но вывод несносен
 маю ль быть ввергнута в осень? —
 чуду в шкафу слишком тесно

1966

Клинопись гусей по сини бисером
 отражает зеркало канала
 и труба сухими высями
 осени трубит начало

1970

ПУБЛИЦИСТИКА



Натан ФАЙНГОЛЬД

"РУССКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ" И ИЗРАИЛЬ

Когда эта статья уже была написана, я прочел "Письмо к братьям" Льва Овсищера. Оно воистину оказалось для меня письмом брата и единомышленника. Я посвящаю эти заметки Льву Овсищеру — с любовью и надеждой на скорую встречу.

Н.Ф.

Поводом к этим заметкам явилась статья Льва Тумермана ("Время и мы", № 5). Статья эта, "Израиль: Европа или Азия?", не отличаясь новизной идеей, непосредственно затрагивает проблему будущего еврейского народа, а изложенные в ней взгляды отражают умонастроения какой-то, быть может значительной, части "русских интеллектуалов" в Израиле.

Из биографической справки, приведенной в журнале, следует, что г-ну Тумерману пришлось испытать горькую

чашу еврейской судьбы в стране социализма. Г-н Тумерман представляется мне человеком искренним, небезразличным к судьбам Израиля, России, всего человечества, человеком, не разделяющим мапамовских иллюзий и знающим цену советской власти, человеком, прошедшим путь от бердичевского хедера через Московский университет, Академию наук СССР и Владимирскую тюрьму до возвращения в Эрец Исраэль. Должен признаться, что к людям подобной судьбы я испытываю не только сострадание, но и авансирующее уважение. "Авансирующее" потому, что страдание, в конце концов, не приводит к истине автоматически. Главное состоит в том, каким сделала человека его судьба или каким он стал вопреки судьбе. А если он родился евреем, то остался ли он верен духу еврейства.

х х х

Первая моя реакция по прочтении статьи, если представить ее в форме некоррелированного "потока сознания", выглядит примерно так:

... Эти люди приехали сюда, полагая, что они ненавидят советскую власть, а на деле советская власть прорвалась в их души и извратила их, лишив их Б-га. ... 5736 лет истории их ничему не научили, полсотни лет советской власти научили их безбожию. ... Вы, г-н Тумерман, атеист, но у в е р о в а л и, что евреи должны быть "как другие народы", что государство Израиль должно стать не еврейским, а западным государством типа Швейцарии. Интересно, может быть, швейцарцы хотят стать евреями? Тогда достаточно было бы поменяться. Угандийцы, например, точно не хотят. Не только в свете старых герцлевских идей, но и "новейшей" тумермановской идеи европеизации космоса... А где логика научного мышления? Где излюбленный наукой метод экстраполяции опыта, индукция-дедукция? Почему именно сейчас "религия, по-видимому, сыграла свою историческую роль"? Где ваши доказательства, профессор?

С каких пор "по-видимому" стало доказательством в научных кругах? С каких пор научным доказательством стали соображения типа "если присмотреться внимательнее, то станет ясно, что все и уда истское течение есть течение национальное, а не религиозное. Когда вы стоите на развалинах Масады, вы думаете о последних героических защитниках еврейской государственности, а не о еврейской религии" (разрядка моя. — Н.Ф.) Вы ошибаетесь, г-н Тумерман. Стоя на развалинах Меады, я вспоминаю "Слово Элизера бен-Яира", который не был защитником уже повергнутой государственности, а евреем, который в числе девятисот шестидесяти совершил подвиг веры: "О мужи, герои войска! Ведь издревле решили мы не склоняться ни перед кем, кроме Г-спода одного, потому что лишь Он один правит человеком по истине и справедливости". Я думаю о еврейской вере, о Завете, о нашей верности и неверности и вспоминаю слова Торы: "Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Г-спода Б-га твоего, внимая голосу Его и прилепляясь к Нему, ибо Он жизнь твоя и долгота дней пребывания твоего на земле, которую поклялся Г-сподь дать отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову". (1)

Здесь мы оставим г-на Тумермана и коснемся некоторых общих русско-еврейских проблем, над которыми бьется двойственное сознание "русского интеллектуала" в Израиле.

Избегая спекулятивных гипотез о структуре правящей в СССР группы, я позволю себе следующее утверждение. Эта группа в целом пришла к заключению, что историческая роль евреев в России как активного идеологического, научно-технического и экономического фактора пришла к своему завершению и остается исторически оформить этот не вызывающий сомнений факт. Окончательно осознана расовая и духовная специфичность евреев как их несовместимость со "всероссийским" (советским) народом. Осознано, что евреи как фактор

российской истории должны быть аннулированы, то есть исторгнуты, поскольку, как показывает опыт, не может быть уверенности в возможности их окончательного поглощения. Следовательно, поскольку против нежелательного фактора хороши все средства (Ленин), естественно торжествует принцип поглощения — исторжения: насколько это возможно — евреи должны перестать быть евреями, насколько это невозможно — да будут истреблены и исторгнуты. Здесь кроется одна из главных причин отъезда из России интеллектуалов-атеистов, ибо их "еврейский стимул" слишком слаб, чтобы продиктовать им решение, переворачивающее всю их жизнь.

Ассимилированный еврей, не вышедший за пределы советской культуры, как правило, атеист. Ассимилированный еврей, впитавший в себя русское духовное наследие, вынужден отказаться от диалектического и любого другого материализма. Поэтому еврей, вернувшийся из России несгибаемым атеистом и считающий себя средоточием русской и мировой культуры, — таковым средоточием не является. Добровольно ассимилировавшимся интеллектуалам не удалось (им не позволяли) перестать быть евреями в России — они приехали для этого в Израиль. Но чтобы перестать быть евреями на Святой Земле, надо избавиться от еврейской сущности нашего народа, то есть лишить его избранности, Завета, Б-га.

Что касается собственно русских проблем, сознание наших интеллектуалов, как правило, тяготело к либерализму и демократизму, не проникая на глубинный уровень российской и советской проблематики.

Но если мы стремимся познать историческую тайну какого бы то ни было общества, нам следует уяснить его аксиологическую направленность, его систему ценностей, систему критериев добра и зла, понять, к чему общество стремится, как понимает оно смысл жизни личности и смысл истории. Либералы, далекие от Б-га и от народа, не могут предложить свою систему ценностей. Их цели не связаны с первичным бытием народа,

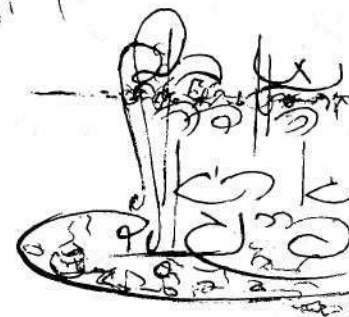
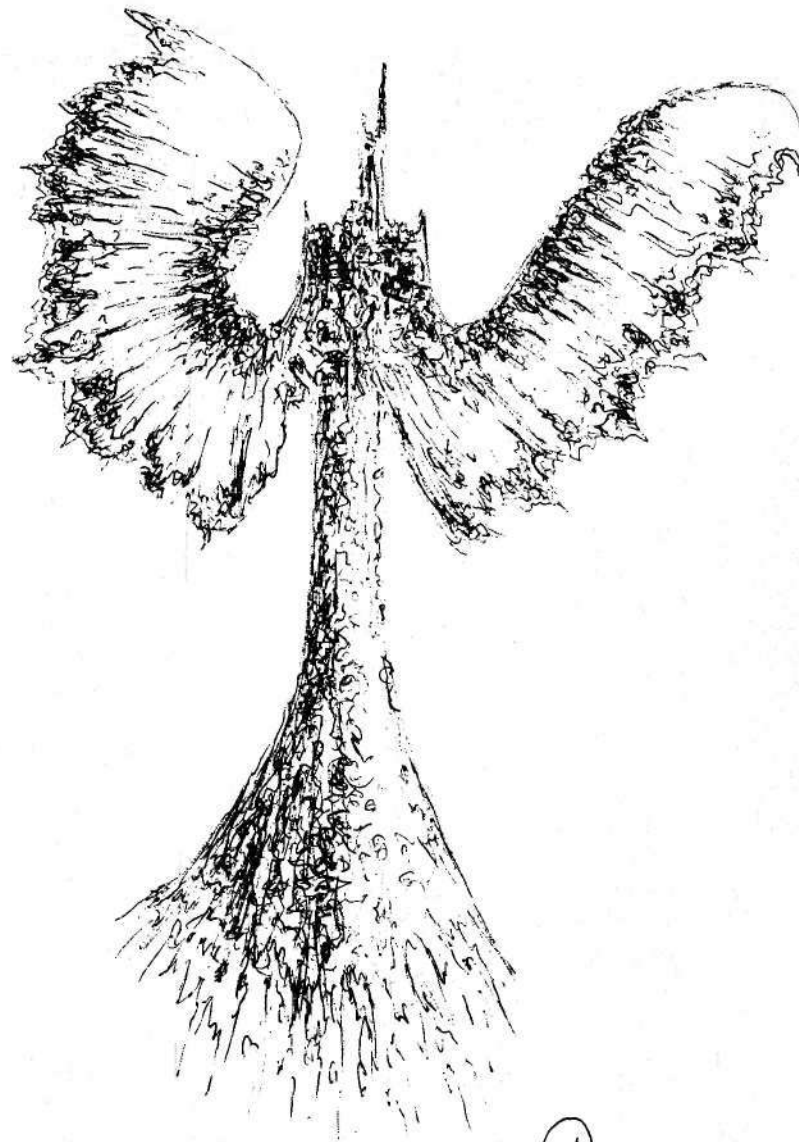
не онтологичны. Их рецепты излечения поверхностны. Они как бы говорят — обеспечим общество правовыми принципами, правовой защитой, демократией, и оно станет более человечно. Но правовое сознание общества не является чем-то внешним по отношению к нему. Оно неотъемлемо связано с духовным основанием общества, его системой ценностей, его пониманием своего исторического и космического назначения. Если общество само не породило свое правовое сознание и если исходить из веры в преходящий характер болезни, вызванной, быть может, лишь внешними неблагоприятными факторами, то резервы для излечения можно почерпнуть лишь в высших ценностях национальной духовной традиции и в глубинных пластах народной души. Для этого необходимо совлечь с нее внешние, неорганические наслоения и осознать ее специфичность, место в творении. В России этим путем идут подлинно русские люди, такие, как Солженицын, Синявский, Максимов. Общее для этих столь разных личностей — в религиозном понимании истории и назначения русского народа. Они знают, что катастрофа России в ее атеизации. "Атеизм — сердце всей коммунистической системы" (А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом", стр. 355), Они знают, что спасение России в возвращении к ее вере. Смысл и достоинство жизненного пути для каждого из них в личном возвращении к своей вере. И в этом они видят надежду и смысл русской истории сегодня и завтра. Либералы-атеисты русского и еврейского происхождения, взхлеб восторгающиеся Синявским, Солженицыным и Максимовым как литературными и гражданскими кумирами, с разочарованием и смущением отстраняются от их религиозных идей. Либералы, люди научного западного склада, склонны к "западничеству" и, как правило, не способны понять национальную специфичность, понять, что национальное начало не является "промежуточным этапом", а, наоборот, имеет бытийственную основу и не подлежит устранению до конца дней. Ибо каждый народ обладает своей функцией, своей

задачей в метаисторическом процессе, назначением, которое открывается ему, если он следует сокровенной, праведной стороне своей природы и находит в своих недрах волю к сопротивлению дьявольским попыткам эту природу изнасиловать, извратить. Они не понимают, что внешние приметы "интернационализации" человечества являются приметами глубокого религиозного кризиса глобальных масштабов и что насущная задача человечества состоит в его преодолении. Не понимают потому, что, ненавидя обличие сатаны, не знают, что он проник в их мозг, в их души, вытеснив Б-га и лишив их способности откликнуться на Его призыв.

Еврей-интеллектуал, переместившийся из страны советов в Израиль, на Святую Землю, но еще не вступивший с ней во внутренний контакт и еще не научившийся черпать из источника еврейского духа, мог бы, во всяком случае, оглянуться назад и извлечь поучение из духовного опыта современной России. И видя, что ее лучшие люди отвергли материализм и связывают надежду на будущее своей страны со служением Высшему, — понять наконец, что для потомков Иакова тем более нет другого достойного пути.

х х х

Они мнят себя объективными мыслителями и не замечают, что отказавшись от Б-га, они не перестали быть верующими. Ведь неверие невозможно. Потому что человек — не столько HOMO SAPIENS, не просто "человек разумный", но ... "человек верующий". Если человек не верит в Б-га, он верит в идолов. В наше время наиболее популярны идола культуры ("игры в бисер"), идола науки и искусства. При этом старые идола секса, власти, личного преуспевания ("человек создан для счастья, как птица для полета") не утратили своего значения. По мере развития религиозного кризиса идол науки становился все притягательнее для непросвещенных масс современных язычников и просвещенной



Иерусалим. Рисунок Натана Файнгольда.

"элиты" жрецов рационального познания. Даже тогда, когда в этом веке идол науки потребовал массовых человеческих жертвоприношений, только наиболее прозорливые и чуткие из его жрецов (такие, как Сахаров) заподозрили неладное. Остальные же не заметили подвоха и не только прислуживают, но и поклоняются с неистовым энтузиазмом — как в демократических, так и в тоталитарных державах.

Наука immoralна, нравственные цели и критерии лежат вне ее пределов. Научное идолопоклонство есть результат ущербности духа, проявление маразма, сопровождающего кризис веры. Чувство элитарности, свойственное некоторым представителям науки, — гримаса этого маразма.

Наука не может заменить Б-га. Наука не разрешает человеческие проблемы. При ее конкретном использовании, то есть при ясном осознании границ ее возможностей, она хороший инструмент для решения проблем, и инструмент познания. Его использование обязывает к предельной осторожности. В особенности, если "инструмент науки" применяют к исследованию проблем человека и человечества, с тем, чтобы результаты исследования превратить в "руководство к действию".

Маркс абстрагировался от персонального и сакрального аспектов человека, превратив его в математическую точку и пренебрегая неповторимостью конкретного исторического бытия каждого народа, низвел живую тайну до умозрительной конструкции и "выплеснул ребенка вместе с водой". (Отметим здесь, что политический сионизм, — а вслед за ним и наши атеисты-интеллектуалы, — также пошел по пути пренебрежения бытийственными факторами, абстрагировавшись от сущности еврейского народа — его избранности и обособленности.)

Любая подобная теория, основанная на пренебрежении неустранимыми онтологическими факторами и подмене нерасчленимой реальности каким-то одним ее "решающим" аспектом (экономическим, сексуальным, национальным), — ложна. После первых практических

"успехов" ее динамический напор иссякает, — раньше или позже выявляется, что она дивергирует с реальностью, что ее модели являются карикатурой истины; выясняется, что король гол. Когда такие теории оперируют с физической или химической реальностью, конфуз разрешается в академическом разочаровании и становится началом новых усилий. Когда же дело касается реальности человеческой, мы приходим к большой беде или малой катастрофе.

К сожалению, в той или иной мере знак неполноценности запечатлен вообще на всякой теории, даже учитывающей большое, но так или иначе конечное, число аспектов реальности. Ведь сказано: "Ибо мысли Мои — не ваши мысли". (2)

Но, конечно, теория теории рознь. Есть теории языческие ("Видите, как все это просто, — сказал радостно солдат...", см. "Торжество земледелия" Заболоцкого), отвлекающиеся от тайны мироздания, отворачивающиеся от Б-га или идеализирующие один из Его аспектов. И есть мудрость веры, всматривающаяся в тайну единого и неделимого творения и прозревающая сущность вещей. В применении к науке такая мудрость проявляет себя в постоянной "оглядке" на Б-га (в какой-то мере это было свойственно Альберту Эйнштейну) и в запоминании того, что Его мысли — не наши мысли. Только такая наука истинна. Я назвал бы ее "еврейской наукой".

x x x

Попытаемся показать, что, касаясь еврейской проблемы, атеисты-интеллектуалы странным образом теряют присущую им способность логически мыслить и занимаются даже не подтасовкой фактов, а просто игнорируют их, как бы не принимая во внимание "экспериментальные данные" истории.

Верующий человек знает, что еврейство сохранилось только благодаря Завету. Для атеиста это не более как гипотеза, но своей плодотворной "рабочей гипотезы"

он предложить не может. Ему остается принять данность и признать, что благодаря уникальным особенностям еврейского народа — фанатичной вере в "иллюзию" Б-га и Завета — произошло уникальное историческое событие, негэнтропийный всплеск, научная вероятность которого была исчезающе мала. Еврейство выжило — народ, тысячелетиями гонимый и рассеянный во враждебной среде, сохранился. Но тогда с необходимостью приходится признать, что некая "иллюзия", даровавшая жизнь еврейству, обладает колоссальной объективной значимостью, ибо субъективное одержало победу над объективным. Однако далее у атеиста возникает тенденция полагать, что если религиозная идея и сохранила еврейство до момента возрождения его государственности, то после ее обретения она утрачивает свое значение, поскольку сама государственность станет гарантией сохранения еврейства. Отметим здесь, что, с точки зрения верующего, еврейство ушло в изгнание именно потому, именно за то, что оно изменяло Завету, и сама по себе государственность его ни от чего не спасала. Атеист же, вынужденный принять утверждение верующего о причинах сохранения еврейства, делает следующий опрометчивый шаг и, вопреки очевидности, утверждает, что возвращение на эту землю произошло не ради того, чтобы евреи смогли выполнить свои обязательства перед Б-гом, не ради построения Его царства, а имеет целью всего лишь создание еще одного государства, цивилизации западного (восточного, ханаанского) типа, сбросившей с себя путы обветшалой еврейской традиции. Не логичней ли было бы признать, что если "иллюзия" избранности приобрела в жизни евреев столь глубокий объективный смысл, то следует проявить величайшую осторожность, а не отбрасывать ее бездумно и сгоряча. А вдруг эта "иллюзия" не исчерпала способности объективироваться в истории, не утратила своей судьбоносной силы?! Сказавши "а", скажи "б".

А если наш атеист заинтересован в том, чтобы еврейский народ сохранился, то для него уже не столь важно,

в состоянии ли он объяснить таинственные особенности нашей истории. Так или иначе он отнесется к этим особенностям со всей серьезностью, попытается их изучить, с тем чтобы понять, что питает жизнь нашего народа и что для него губительно. (Это напоминает ситуацию манипулирования с кибернетическим "черным ящиком", структура и способ функционирования которого не известны, но известна система однозначных соответствий между воздействиями и реакциями. Один из открытателей операторного исчисления Хэвисайд, признавая, что не в состоянии дать этому исчислению строгое обоснование, говорил: "Разве мы отказываемся от хорошего блюда, если не знаем, как оно приготовлено?" Операторное исчисление, мол, "работает" — будем им пользоваться! В условиях неполноты знания верующий руководит вера, а атеисту остается магия "черного ящика", к которой приводит последовательное научное мышление.)

Большинство верующих видит в обретении государственности веку Священной истории, начало исполнения пророчеств. Обещанное нам издревле возвращение на Святую Землю началось. Г-сподь исполняет Завет, и от нашей верности Б-гу и Завету, здесь и теперь, зависит: станет ли наше возвращение началом *геулы* — искупления и освобождения. От нас, здесь и теперь, зависит приход Мессии, наступление Его царства.

Для атеиста все это — очередная иллюзия. Категория Священного ему чужда и непонятна. Святая Земля для него — всего лишь обыкновенный клочок земной поверхности, на котором ООН разрешила нам собраться вместе. Поэтому ему остается уповать на государственность, которая в его глазах есть панацея от всех бед.

Но игнорирование опыта истории — не что иное, как простой авантюризм. Атеист говорит: с обретением государственности роль религии закончилась. Почему? Если даже мы обеспокоены лишь физическим сохранением народа, но (не дай Б-г!) откажемся от Завета, достаточно ли тогда одной государственности? Разве мир, и в первую очередь наши ближайшие соседи, отно-

сятся к нам с такой уж симпатией? Разве сила нашего государства сравнительно с мощью наших многочисленных и могущественных врагов такова, что нам не угрожает физическое уничтожение? Разве здесь и в диаспоре нам по-прежнему не угрожает ассимиляция?

Если предположить то, что несовместимо со всем опытом еврейской истории, то, чего никогда не было и не должно быть, и представить себе, что все еврейство (не дай Б-г!) отреклось от Завета, то за счет чего же оно могло бы выжить? За счет военной мощи или же за счет инерции ненависти окружающих народов к этим потомкам евреев, переставшим быть евреями, которая препятствовала бы их растворению? Да и то до поры до времени — поглощение было бы неизбежно. Ибо что объединяло бы этих потомков, отказавшихся от высшей цели, что питало бы силу их сопротивления? Сколько времени можно просуществовать за счет чужой и, порожденной ею, своей ненависти? И достойно ли подобное существование, которое было бы антитезой еврейского бытия, то есть жизни во имя любви к Б-гу и Его творению?

И еще вопрос: почему, собственно, европеизация представляется таким уж благом? Разве западный мир — это не Мюнхен, предавший, предающий и готовый предавать нас при любом удобном случае? Разве западный мир, заимствовавший у нас через христианство свои высшие духовные ценности, свои нравственные идеалы, не изменил им? Разве не пребывает он в состоянии глубокого декаданса и духовного разложения? Разве можно с уверенностью поручиться, что Запад способен преодолеть внутренний разлад и не будет поглощен коммунистическим Востоком?

Странно нам теперь, великим чудом оказавшимся на Святой Земле, добровольно, по собственному "разумению" предать себя самоуничтожению. Как евреи мы могли бы перестать существовать и в галуте, зачем нам было возвращаться? Во имя чего нам предлагают отказаться от нашей истории, от наших ценностей, от наших

предков? Ведь дилемма "Европа или Азия?" — надуманна и не соответствует нашему естеству. У нас — свой путь. Ибо сказано: "Вот народ, живущий обособленно, и между народами не числится". (3)

Отступники — последовательные атеисты или оставившие еврейство и перешедшие в другую веру — говорят: "Евреям нужно было отказаться от еврейства в начале изгнания. Тогда не было бы столь огромных и бессмысленных жертв" (см., например, "Доктор Живаго"). Для тех, кто не верит в приход Мессии, бессмысленны не только жертвы, но и вся наша история.

Но мы ведь знаем, что, хотя в разные времена находились евреи, активно стремящиеся к ассимиляции, еврейство в целом никогда не ассимилировалось. "Естество израильтянина таково, что он или еврей, или казнен" (Рамбан). Вот он — камень преткновения. Мы не могли в силу каких-то необъяснимых причин, мы не могли никогда и не можем сейчас перестать быть евреями.

х х х

Неразрывна и неопровержима связь между еврейской историей и еврейской верой. Эта связь коренится в самой сущности еврейства. Сущность Израиля как мистической общности и основа его существования определены актом взаимного избрания: Б-г избирает Израиль, Израиль избирает Б-га и возлагает на себя особое служение, обрекает себя на жертвенную борьбу за истину и справедливость, чтобы по призыву Г-спода "открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме — из темницы". (4) Избрание налагает бремя: "Только вас признал Я из всех народов земли, потому и взыщу с вас за все грехи ваши". (5) Оно делает весь народ носителем откровения: "Вы свидетели Мои, — слово Г-спода, — и раб Мой, которого Я избрал". (6) Акт избрания совпадает с актом

исхода, который является актом рождения народа свыше. Такое рождение выделяет народ из среды народов. Это начало уникальных отношений с Б-гом, которые и делают народ уникальным.

Израиль избран, чтобы освободиться от рабства, чтобы хранить Тору, чтобы быть носителем Б-жественного Закона среди народов, чтобы стать образцовым народом, чтобы привести человечество к искуплению. Завет с Б-гом — нерасторжимый брак. Попирая законы детерминизма, Израиль следует своим путем между народами, сохраняя свою специфичность и свое назначение. Он представитель Б-га в мире, придающий смысл истории ("Если не было бы евреев — не было бы истории", — говорит Бердяев).

Избранность нашего народа вынуждены признать духовные вожди современных народов — от папы до Сартра. Наиболее яростно отвергают факт избрания атеисты из евреев, красные и розовые интеллектуалы, независимые и зависимые либералы.

Рабби Элиау Лупин * говорит: "...Если израильтянин употребляет силу своей ненависти против врагов Г-спода, против зла, тогда ничто так не крепит благословение, не умножает любовь на земле, как эта ненависть. Однако если он сворачивает с истинного пути, назвав зло добром, а добро — злом, тогда всю силу своей ненависти он обрушивает на добро, которое является злом с его точки зрения... Таков народ Израиля; хорошо и ему, и миру, когда, огражденный Законом, он изучает Тору и преподает ее всему человечеству. Но когда он выходит из этих границ, он становится страшной разрушительной силой, неисправимой иначе, как гнетом и порабощением".

В соответствии с еврейским вероучением, Мессия придет после того, как весь наш народ превратится в *дор цаддиким* — поколение праведников. Но Б-жественным планом творения предусмотрена и другая воз-

можность — возможность отпадения и превращения нашего народа в *дор клавим* — поколение собак. Даже в этом случае придет Мессия. "И окроплю вас водою чистою, и очиститесь вы от всей скверны вашей; и от всех идолов ваших очищу вас. И Я дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас. И удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти". (7)

Смысл служения Израиля в том, чтобы, "любя Г-спода и прилепляясь к Нему", встретить царство Б-жие не как пребывающее во мраке поколение собак, а выполнив свое назначение — просветлить историю, освятить и Его имя.

Иерусалим, 5736

(1) - (Дварим/Второзаконие/30:19-20)

(2) - (Йешаяу 55:8)

(3) - (Бемидбар/Числа/23:9)

(4) - (Йешаяу 42:7)

(5) - (Амос 3:2)

(6) - (Йешаяу 43:10)

(7) - (Йехезкэль 36:25, 26)

* "Менора", № 5, стр. 41-42.

КТО ЧИТАТЕЛЬ?

Несколько недоумений

Видный израильский чиновник, много сталкивающийся по роду своих занятий с приехавшими из Союза евреями, сказал на днях: "Мне кажется, что одни и те же вещи мы, израильтяне, и вы, недавние советские жители, видим совершенно по-разному. Но стоит мне это сказать, как мне кричат, что я недоброжелателен к репатриантам из России". Я была с ним более чем согласна. Расхождение моего угла зрения с углом зрения коренных израильтян и евреев, приехавших в Израиль из стран свободного мира, стоило мне многих минут напряженных и неприязненных по отношению к себе размышлений.

"Они" были уверенней, смелее и проще, легко относились к мелким жизненным неудачам, не цеплялись за свои первоначальные планы и намерения как за единственные, и многие практические вопросы решались для них с меньшей болью и тратой нервов, чем у моих друзей. Им не было страшно сменить профессию, жить не вполне там, где хотелось, — они ведь не вывезли из страны исхода убеждения, что вся жизнь сводится к работе, они не знали необъяснимого слова "прописка" и не считали, что служба и квартира, как жизнь, даются один раз...

Естественность поведения в любой ситуации, открытость жеста, раскованность и доверчивость видны мне были и в отдельном человеке, и в уличной толпе, так не похожей на российскую. Но рядом с восхищением нарастало и другое чувство, чувство смутного недоумения и недооформленного ощущения, что этим гармоничным людям не хватает каких-то качеств, которые нам всегда казались само собой разумеющимися. Чув-

ство это укреплялось от многочисленных встреч с израильскими и западными людьми интеллигентных профессий, и, отдав себе в нем отчет, я вспомнила, что возникло оно у меня еще давно, в России — просто до поры до времени я отмахивалась от него, а теперь оно разрослось и потребовало описания и оценки.

Я излагаю свои недоумения в хронологическом порядке, не пытаясь делать обобщений и выводов иначе, как предположительно.

В начале 1971 года мы получили "отказ" и тем самым стали интересны для евреев, приехавших в Ленинград в качестве туристов из Америки и Европы. Наличие в мире еврейской солидарности было для нас потрясающим и единственно обнадеживающим в той беспросветной ситуации открытием. Среди людей, посетивших нас тогда, мы приобрели добрых знакомых на всю остальную жизнь.

Все в России их удивляло, и многое, с точки зрения нормального европейского разума, действительно заслуживало удивления. Но они были как-то особенно к этим впечатлениям не подготовлены, а между тем то немногое, что попадало к нам из зарубежных книг, позволяло думать, что им доступна любая информация и любая художественная литература на всех языках.

Книжные полки в нашем доме, очень, по ленинградским понятиям, обычные, вызывали их удивление: "Сколько книг?!" В ту отказную пору мы жили довольно скудно, дом свой я к тому времени уже успела разлюбить, видела в нем времянку и не заботилась о нем. Угощая своих гостей, я не могла поставить на стол шести одинаковых чашек. "Почему вы не продадите часть книг и не купите себе посуду?"

Один из самых обаятельных наших собеседников — молодой и остроумный преуспевающий промышленник из Техаса. Все то же детское неведение, соединенное с горячим желанием помочь евреям в СССР. Мы быстро выясняем, что, не бывав никогда в Соединенных Шта-

тах, лучше представляем себе американскую жизнь, чем он советскую. Солженицына он читать пробовал, но бросил. Очень тяжелый писатель. Ну, неужели тяжелее, чем, скажем, Фолкнер? Но Фолкнера просто читать невозможно.

...Горячий двадцатилетний мальчик из штата Нью-Йорк, очень напоминая моих ленинградских студентов. Этот приходил к нам каждую неделю чуть ли не полгода: он хотел понять нашу прежнюю жизнь и, кажется, прочил себя в писатели. Слышал ли он о Синявском и Даниэле? Нет, никогда. Так невелик оказался резонанс событий, которые мы для себя считали важнейшими.

По данным ЮНЕСКО, по количеству печатной продукции на душу населения Израиль входит в первую пятерку стран в мире. В Израиле читают на всех языках и нет, практически, такой книги, которую невозможно было бы достать. Иногда я позволяю себе удовольствие мысленно перенести Магазин русской книги с улицы Алленби в Тель-Авиве на Литейный проспект в Ленинграде, хотя бы на два часа, и безошибочным внутренним взором вижу давку внутри, очередь аж до Фонтанки снаружи и пикеты конной милиции для поддержания порядка и осуществления свободы слова.

Отношение к книге израильтян среднего и молодого возраста во многом напоминает западное. Скажу сразу, что я имею в виду только интеллигентный круг. Я никогда не могла понять и разделить восхищения многочисленных авторов путевых очерков о России, где описание погруженных в книгу пассажиров городского транспорта стало каким-то дежурным местом. Что с того, что Джон Смит, покачиваясь в вагоне подземки, просматривает "Плейбой", а Ваня Кузнецов на двадцать минут в московском метро погружается в социалистический роман "Сержант милиции"? "Плейбой" и здоровее, и интереснее. Те километры и килограммы макулатуры, которые в виде "Роман-газеты", "Библиотеч-

ки бойца" и книг серии "Прочти, товарищ" поглощает якобы читающая советская публика, никакого отношения ни к какой культуре не имеют и являются самым настоящим "опиумом для народа", простым государственным средством заполнения времени и мозга.

Иное дело интеллигенция. Она многослойна, неоднородна по вкусам и духовным потребностям, но на всех своих уровнях устремлена к книге, и литературный интерес — один из самых стойких и значащих в ее жизни. Конечно, не раз справедливо было сказано, что в этом повальном литературном увлечении легко угадывается стремление к наркотическому опьянению, к уходу из безрадостного реального мира в иллюзорный книжный мир. Но дело не сводится только к этому. Писательство — безусловно опасное занятие в России. Но и за чтение можно сегодня поплатиться если не жизнью, так свободой, и тем не менее счастливым считает себя человек, добывший на одну ночь самиздатский роман или тамиздатную книжку.

Перечитывая Герцена или мемуары Аксаковых, многочисленных мемуаристов первых послереволюционных лет, поверхностные ли воспоминания Эренбурга или пронзительную книгу Надежды Мандельштам, — убеждаешься, что повышенная ценность слова есть старинная русская традиция. Вероятнее всего, это всемирная интеллигентская традиция, которая, по очевидным и неочевидным причинам, долее всего задержалась в России.

Ныне многотысячный поток эмиграции из России выносит эту традицию обратно в мир.

Израиль в известном смысле кажется довольно достоверной моделью мира — мы ведь рассматриваем только один узкий вопрос об отношении современного среднего интеллигента к книге. Вот несколько эпизодов.

Аудитория на курсах по изучению иврита для ново-прибывших представительна, как Организация Объ-

единенных Наций. По какому-то случайному поводу еврей из России упомянул имя Карела Чапека. Класс замер в неодобрительном недоумении: не только не читали, но никогда и не слышали.

Сын вернулся домой из школы с ошеломляющей новостью:

— Мама, Йоэль не знает, кто такой Гомер.

Я совсем не потрясена этим сообщением:

— На свете сколько угодно одиннадцатилетних мальчиков, которые не знают, кто такой Гомер.

Но он не отстает:

— Но и никто в классе не знает, кто такой Гомер. В классе, должно быть, человек сорок.

Двое двенадцатилетних израильтян, мальчик, родившийся в Москве, и девочка родом из Вильнюса. Они только что познакомились и увлечены процессом открытия друг друга:

— Ты читала "Трех мушкетеров"?

— А ты "Оливера Твиста"?

— Тебе нравится Купер?

— А ты любишь Уэллса?

Им важно определить уровень начитанности, диапазон вкуса. Как рано достался им этот чисто российский способ опознания собеседника! Скажи мне, что ты читаешь, и я узнаю, свой ты мне или чужой. Это как переключка в Кипплинговой "Книге Джунглей": "Мы одной крови, ты и я!"

Израильтяне рассказали нам анекдот. Юноша влюблен в девушку, репатриантку из России. Но она не дает себя обнять: "Погоди, мы ведь еще не поговорили о Пушкине". На наш взгляд, анекдот слишком рабски копирует действительность, чтобы быть смешным. Но нашим собеседникам забавным кажется сам российский способ знакомиться, тот самый способ, который так естествен для девочки из Вильнюса и мальчика из Москвы.

Молодые, лет под тридцать, израильтяне: архитектор, художница, инженер и учительница старших классов. Беседа опять крутится вокруг русско-еврейских проблем. Живейший интерес с их стороны соединен с самым девственным неведением.

Марголин, один из самых пронизательных рассказчиков о "Стране Зэка", жил в Тель-Авиве и с начала пятидесятых годов издавал свои статьи и книжки. О Марголине они не слышали. О Солженицыне слышали и даже пытались читать, но он такой трудный писатель: все время меняются ситуации и бесконечное мелькание действующих лиц. Но ведь проза Солженицына вполне в русле классической реалистической традиции, не усложненной же она толстовской прозы, например. Да, да, Толстого и Достоевского тоже очень тяжело, почти невозможно читать современному человеку. А как у них с Томасом Манном? О, его читать тоже невозможно...

Они были хорошо образованны, прекрасно воспитаны и обнаруживали глубину суждений, когда беседа касалась многих вопросов. Но я могу поклясться, что такой разговор о литературе в аналогичном кругу в Москве или Ленинграде был бы невозможен.

Подтверждением этому ощущению были слова одного моего израильского собеседника: "Понимаете, человек может быть даже очень начитан, все равно книга не является для него таким жизненно важным событием, как для интеллигента в России. У нас жизнь отдельно, а литература отдельно. Русский же интеллигент может переживать книгу как реальное событие, как болезнь ребенка или встречу с другом. Я много общался с русскоязычными людьми, вы и сами не замечаете, какую роль в вашей речи играет, например, цитата. Такое впечатление, что прочитанная книга лежит постоянно раскрытой в вашем сознании".

Факт, что небольшая, сравнительно с общим числом населения Израиля, русскоязычная алия раскупила две с половиной тысячи экземпляров книжки стихов поэтессы Лии Владимировой, в то время как книги

Натана Ионатана, Далии Равикович или Давида Авидана, очень любимых поэтов в Израиле, месяцами лежат на прилавках. Факт свидетельствует не о разнице поэтических дарований, а о разнице читательского отношения.

Эта разница читательского отношения — вещь далеко не маловажная. Речь идет о том, что в мире свободного слова его действие и мощь уничтожаются равнодушием к слову. Поток информации обесценивает саму информацию, а потребитель, с невоспитанным слухом, без опыта доверия к художнику, не слышит ему необходимого, к нему обращенного слова, хотя очень часто это слово оплачено ценою свободы и жизни.

Одинок и непонят был соотечественниками Юлий Марголин. О нравственную глухоту разбил саркастический голос Аркадия Белинкова. И пусть никого не вводит в заблуждение сенсационная слава Солженицына: мир затвердил его имя, но не прочел его книг. А он-то верил — это видно по книге "Бодался теленок с дубом", — что от появления его книг рухнет Архипелаг. Средний западный интеллигент включил в свое сознание несколько русских имен — Солженицын, Синявский, Максимов — и тем самым отдал дань их тяжелой судьбе. Средний западный интеллигент не считает, что в их книгах содержатся истины и сообщения, предостережения и крики о помощи, обращенные к нему лично. Для этого он воспринимает литературу недостаточно близко к жизни.

Вынесенное потоками русской эмиграции российское отношение к книге есть качество, которого с очевидностью не хватает сегодня в мире и без которого страшный исторический урок, преподанный Россией, может потребовать повторения. Вольтеровские слова: "Опыт очень горькая школа, но дураки не хотят учиться в другой" — могут еще раз оказаться огорчительно справедливыми. Но, по правде говоря, очень мало надежд, что интеллигенция свободного мира способна всерьез задуматься над тем, что несет ей с собою русский опыт.



Мартин БУБЕР

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Окончание. Начало в шестом номере журнала.

4. НАЧИНАТЬ С СЕБЯ

Однажды несколько выдающихся мужей Израиля в гостях у рабби Ицхака из Ворки обсуждали, какую ценность для дома представляет собой честный и расторопный слуга. Они говорили, что от хорошего слуги зависит успешное ведение хозяйства, и ссылались при этом на Иосифа, в чьих руках все процветало. Рабби Ицхак возразил: "Я тоже когда-то так думал, но мой учитель показал мне, что все дело в хозяине дома. Видите ли, когда я был молод, моя жена доставляла мне массу хлопот, и, хотя сам я так или иначе мирился с этим, мне было жаль слуг. И я пошел к моему учителю рабби Давиду из Лелова и спросил его, должен ли я противодействовать своей жене. Он же ответил мне: "Почему ты обращаешься ко мне? Обра-

щайся к себе". Мне пришлось основательно поразмыслить над этими словами, прежде чем я понял их смысл. И понял я их только после того, как вспомнил одно высказывание Баал-Шема: "Есть мысль, речь и действие. Мысль соответствует жене твоей, речь — детям и действие — слугам. И если человек выправит свою жизнь по этим трем направлениям, все будет процветать в руках его". Тогда я понял, что имел в виду мой учитель: все зависит от меня самого."

Эта история затрагивает одну из самых глубоких и самых трудных проблем нашей жизни: подлинный источник конфликтов между людьми.

Обычно мы объясняем проявления конфликта мотивами, которые сами стороны считают поводом ссоры, и объективными обстоятельствами и процессами, которые стоят за этими мотивами и затрагивают обе стороны; либо, подходя аналитически, мы пытаемся исследовать подсознательные комплексы, к которым эти мотивы относятся, как простые симптомы болезни к самим органическим расстройствам. Хасидское учение совпадает с этим подходом в том, что и оно выводит внешние проблемы из проблематики внутренней жизни. Но оно отличается от него в двух существенных пунктах, один из которых носит принципиальный, а другой — практический характер, причем второй даже важнее первого.

Принципиальное различие состоит в том, что хасидское учение не занимается исследованием отдельных психических проблем, а рассматривает человека, как целое. Это различие, однако, отнюдь не чисто количественное. Ибо хасидская концепция вырастает из сознания того, что выделение элементов и частных процессов из целого препятствует постижению целого и что подлинное преобразование, подлинное возрождение, сначала самого человека, а впоследствии и отношений между ним и его ближними, может быть достигнуто только путем постижения целого как целого. (Выражаясь парадоксально: поиски центра тяжести уже сдвигают его и тем самым сводят на нет всякую попытку решить затронутую проблему.) Это

не значит, что не нужно рассматривать отдельные явления души; однако ни на одном из них не следует акцентировать внимание чрезмерно и пытаться вывести из него остальное; скорее, все они должны стать отправными точками — взятые не по отдельности, а в живом единстве.

Практическое различие состоит в том, что в хасидизме человека не рассматривают как объект исследования, а призывают "выпрямиться". Прежде всего сам человек должен понять, что конфликтные ситуации между ним и другими являются не чем иным, как проявлением конфликтных ситуаций в его собственной душе; затем он должен стараться преодолеть этот внутренний конфликт, с тем, чтобы впоследствии вернуться к своим ближним и вступить с ними в новые, преобразованные отношения.

Человек, естественно, пытается избежать этого решительного поворота — в высшей степени несовместимого с его привычным отношением к миру. Он оправдывается перед тем, кто взывает к нему (или перед собственной душой, если это она взывает к нему): мол, в каждом конфликте участвуют две стороны, и если он должен перенести внимание с внешнего конфликта на внутренний, то и его противник должен бы сделать то же самое. Но именно эта установка, при которой человек воспринимается только как индивидуум, противостоящий другим индивидуумам, а не как подлинная личность, преобразование которой способствует преобразованию мира, содержит фундаментальную ошибку, которую и вскрывает хасидское учение. Суть дела именно в том, чтобы начать с себя. Любой другой подход может отвлечь его от того, что он собирается совершить, ослабить его решимость и тем самым погубить все его смелое начинание.

Рабби Буним учил: "Наши мудрецы говорят: — Ищите мира на своем месте, — вы не найдете мира нигде, кроме своего собственного "я". В псалме мы читаем: "Нет мира в костях моих из-за греха моего". Когда человек обретет мир в себе самом, он сможет утвердить мир на всей земле".

Однако история, с которой я начал, не ограничивается общими указаниями на истинный источник внешних конфликтов, то есть на внутренний конфликт. Приведенное выше высказывание Баал-Шема точно определяет, и в чем решающий внутренний конфликт состоит. Это борьба в человеке и в его жизни между тремя принципами: принципом мышления, принципом речи и принципом действия. Источник всех конфликтов между мной и моими ближними — в том, что я не говорю того, что думаю, и не делаю того, что говорю. Ибо это каждый раз все больше и больше запутывает и отравляет отношения между мной и другими людьми. И внутренне распадаясь, я теряю способность управлять конфликтной ситуацией и, вопреки всем своим иллюзиям, становлюсь ее рабом. Из духа противоречия и лжи мы обостряем конфликтные ситуации, подпадаем под их власть, и в конце концов они нас поработают. Единственный выход из этого положения — отчетливо осознать: все зависит от меня и от моего бесповоротного решения. Я выпрямлюсь.

Но для того чтобы человек оказался способен на этот великий подвиг, он должен пробиться сквозь случайные, второстепенные стороны своего существования к самому себе, он должен обрести свое Я — не тривиальное его эгоцентрического индивидуума, но глубинное Я личности, живущей во взаимосвязи с миром. А это противоречит всему, к чему мы привыкли.

Я закончу эту главу старой шуткой, которую рассказывал рабби Ханох.

— Жил некогда человек, который был очень глуп. Когда он вставал по утрам, ему было так трудно найти свою одежду, что по вечерам — при мысли о волнениях, предстоящих ему при пробуждении, — он колебался, стоит ли ложиться спать. Однажды вечером он наконец сделал над собой усилие, взял бумагу и карандаш и, раздеваясь, записал все в точности, куда он что положил. На следующее утро, очень довольный собой, он взял свою записку в руки и прочел: "шапка" — вот она, и одел ее на голову; "брюки", — вот они лежат, и он влез в них; и т.д., пока

полностью не оделся. "Все это прекрасно, но где же теперь я сам? — спросил он в сильнейшем испуге. — Где же, в конце концов, я?" Он искал и искал, но поиски были тщетны; он никак не мог найти самого себя. "Так обстоит дело и с нами", — говорил рабби.

5. НЕ БЫТЬ ПОГЛОЩЕННЫМ СОБОЙ

Рабби Хаим из Занса* женил своего сына на дочери рабби Элиезера. На следующий день после свадьбы он посетил отца новобрачной и сказал ему: "Теперь, когда мы породнились, я считаю тебя близким человеком и могу сказать тебе, что терзает мою душу. Смотри! Мои волосы и борода поседел, а я до сих пор не искупил своих грехов!"

"О мой друг, — ответил рабби Элиезер, — ты думаешь только о себе. А что если забыть о себе и подумать о мире?"

То, что здесь сказано, на первый взгляд противоречит всему, что до сих пор говорилось об учении хасидизма. Мы слышали, что каждому человеку следует Очистить свое сердце, избрать свой особый путь, восстановить единство своего существа, начать с самого себя, а теперь нам говорят, что человек должен забыть о себе. Но если мы тщательно проанализируем это предписание, то найдем, что оно не только согласуется с другими, но естественно входит в состав целого, как неотъемлемое звено и необходимая ступень. Достаточно задать один вопрос: "Зачем?" Зачем мне избирать свой особый путь? Зачем приводить к единству свое существо? Ответ гласит: не ради себя. Вот почему ранее предписывалось: "Начинать с себя". Начинать с себя, но не кончать собою. Отправляться от себя, но не быть для себя целью, постигать себя, но не быть поглощенным собой.

Мы видим цаддика, мудрого, благочестивого, доброго

*Новый Зац в Зап. Галиции.

человека, укоряющего себя в старости за то, что он еще не достиг истинного преображения. Ответ, данный ему, очевидно подсказан убеждением, что он сильно преувеличивает свои грехи и недооценивает глубины своего раскаяния. Но слова рабби Элиезера имеют и более общий смысл, и понимать их следует широко: "перестань беспокоиться о том зле, что ты сотворил; направь свои душевные силы, которые ты растрачиваешь на самобичевание, на то активное взаимодействие с миром, для которого ты создан. Ты должен быть поглощен не собой, но миром".

Прежде всего нам следует должным образом понять то, что здесь сказано о преображении. Известно, что преображение (тэшува) занимает центральное место в еврейской концепции пути человека. Преображение способно обновить человека изнутри и изменить его положение в Божьем мире, так что испытавший его оказывается стоящим выше, чем совершенный цаддик, не издававший пучины греха. Преображение означает нечто гораздо большее, чем раскаяние и акт покаяния; оно означает, что благодаря решительному повороту всего своего существа человек, который заблудился в лабиринте эгоизма, где он знал лишь одну цель — самого себя, находит путь к Богу, то есть путь к осуществлению той особой задачи, для которой он, этот особый человек, предназначен Богом. Раскаяние может служить лишь толчком к подобному активному повороту; тот, кто беспрестанно терзается раскаянием и истязает себя мыслью, что его покаяние недостаточно, — отвлекает лучшие свои силы от внутренней работы, необходимой для поворота. В проповеди, произнесенной в Судный День, рабби из Гены говорил, предостерегая от самоистязания: "Тот, кто содеял зло, и говорит о нем, и все время думает о нем, не изгоняет содеянную низость из своих мыслей; но ведь кто о чем думает — там он и находится; душа человека пребывает в том, о чем он думает, так что, думая о зле, он пребывает во зле. Он наверняка не сможет вернуться к Богу, ибо дух его огрубеет, а сердце ожесточится, и в довершение всего им может овладеть уныние. Да и как же

иначе? Грехи навоз так, грехи эдак, он навозом и останется. Согрешил я или не согрешил, — что от этого Небесам? Чем терять время, предаваясь размышлениям о грехе, лучше мне нанизывать жемчужины к вящей радости Небес. Вот почему сказано: "Отстанись от греха и твори добро". Ты содеял зло? Противопоставь ему праведные деяния".

Но смысл этой истории еще шире. Тот, кто беспрестанно терзается мыслью, что он еще не полностью искупил свою вину, озабочен, по существу, спасением своей собственной души, своей личной судьбой в вечности. Отвергая эту цель, хасидизм следует здесь духу общего учения иудаизма. Одно из главных отличий христианства от иудаизма состоит в том, что христианство считает высшей целью каждого человека его личное спасение. Иудаизм же считает душу каждого человека слугой, действенным органом Божьего Творения, которое благодаря труду человеческому должно стать Царством Божьим. Поэтому ни одна душа не имеет целью самое себя, свое собственное спасение. Верно, что каждый должен себя знать, очищать и совершенствовать, — но не ради самого себя — будь то преходящее счастье или вечное блаженство — а ради того труда над миром, который он призван свершить.

Погоня за своим собственным спасением рассматривается здесь всего лишь как самая возвышенная форма эгоцентризма. Именно этот эгоцентризм хасидизм отвергает самым решительным образом, и особенно — в человеке, нашедшем и развившем свое собственное Я. Рабби Буним говорил:

— В Писании сказано: "И Корех получил". Что он получил? Он хотел получить себя — следовательно, все, что он делал, было лишено всякой ценности.

Вот почему Буним противопоставлял вечного Кореха вечному Моше, человеку "смиренному", чьи деяния направлены не на себя самого. Рабби Буним учил: "В каждом поколении возвращаются душа Моше и душа Кореха. И если когда-нибудь, в грядущие дни, душа Ко-

раха по своей воле склонится перед душой Моше, то Корах будет спасен".

Таким образом, история человечества на пути его к искуплению представляется рабби Буниму в виде процесса, в котором участвуют как бы люди двух типов — гордые, которые, пусть и в самой возвышенной форме, думают лишь о себе, и смиренные, во всех случаях жизни думающие о мире. Только тогда, когда гордость склонится перед смирением, найдет она искупление, и только тогда, когда она будет искуплена, мир будет спасен.

После смерти рабби Бунима один из его учеников — рабби из Геры, проповедь которого в Судный День я цитировал выше, заметил: "У рабби Бунима были ключи ко всем небесам. И почему бы нет? Человеку, который не думает о себе, даны все ключи!"

Величайший из учеников рабби Бунима, подлинно трагическая фигура среди цаддигов, рабби Мендель из Котца, сказал однажды, обращаясь к своей общине: "Чего я, в конце концов, требую от вас? Всего трех вещей: не выглядывать тайком из себя, не заглядывать тайком в других и не делать себя целью". Иначе говоря: во-первых, вместо того чтобы завидовать другим, каждый должен сохранять и освящать свою собственную душу в ее неповторимости и на ее собственном месте в жизни, во-вторых, каждый должен уважать тайну в душе ближнего своего и не вмешиваться в нее с бесстыдным любопытством в собственных интересах, и, в-третьих, в своем отношении к миру каждый должен остерегаться, как бы ни превратить себя в самоцель.

6. ЗДЕСЬ, ГДЕ ТЫ СТОИШЬ

Когда молодые люди впервые приходили к рабби Буниму, он обычно рассказывал им историю с рабби Ициком, сыном рабби Йекеля из Кракова. После многих лет тяжелой нищеты, ни разу не поколебавшей его веры в Бога, он увидел во сне: некто приказывает ему отправиться за сокровищем в Прагу и отыскать его под

мостом, ведущим к царскому дворцу. Когда сон повторился трижды, рабби Ицик собрался в путь и отправился в Прагу. Но мост день и ночь охраняла стража, и поэтому копать он не решился. Тем не менее он приходил к мосту каждое утро и бродил вокруг него до вечера. Наконец начальник стражи, наблюдавший за ним, добродетельно к нему обратился и спросил, не ищет ли он чего-нибудь, не ожидает ли кого-нибудь. Рабби Ицик рассказал ему о сне, который привел его сюда из далекой страны. Начальник стражи рассмеялся! "И в угоду сновидению ты, бедняга, истоптал башмаки, добираясь сюда! Ну, а если бы я верил снам, мне пришлось бы отправиться в Краков, потому что во сне я получил указание пойти туда и копать под печкой в комнате еврея Ицика, сына Йекеля — да, так его звали! Ицик сын Йекеля! Легко вообразить, как бы я один за другим обходил бы дома, в которых половину евреев зовут Ицик, а другую половину — Йекели!" И он снова рассмеялся. Рабби Ицик поклонился, вернулся домой, откопал из-под печки сокровище и построил молитвенный дом, который называют "Синагога Рэбэ Ицика, сына Рэбэ Йекеля".

"Примите эту историю близко к сердцу, — добавлял обычно рабби Буним, — и сделайте своим достоянием то, что в ней содержится: существует нечто, чего вы не сможете найти нигде на свете, даже у цаддика, и тем не менее есть место, где оно может быть найдено".

Эту очень старую историю мы встречаем у разных народов, но хасидизм облакает ее в совершенно новую форму. Действие не просто формально перенесено в еврейскую атмосферу. Оно звучит по-новому, положенное на хасидскую музыку. Но даже и это не главное — решающее изменение состоит в том, что история эта стала как бы прозрачной и в ее словах просвечивает хасидская истина. К ней не прилагается "мораль", но рассказавший ее мудрец открыл наконец ее подлинный смысл и сделал его явным.

Есть нечто, что можно отыскать только в одном месте.

Это — великое сокровище, которое можно назвать реализацией существования. И обрести это сокровище можно в одном-единственном месте — там, где ты стоишь.

Большинство из нас лишь в редкие моменты ясно осознает тот факт, что они так и не извели реализации существования, что, живя, они не участвуют в истинном, реализованном существовании, что их жизнь как бы проходит мимо истинного существования. Но мы постоянно испытываем ощущение неполноты и то, чего нам недостает, пытаемся найти где-то в ином месте. Где угодно, на другом конце света или своего сознания — только не там, где мы находимся, не там, куда помещены,— а сокровище скрывается именно здесь и только здесь. Окружение, которое я воспринимаю как естественное, ситуация, которая дана мне как судьба, то, что происходит со мной изо дня в день, то, что взывает ко мне изо дня в день, — во всем этом скрыта моя насущная задача и та реализация существования, которая открыта для меня одного. Об одном учителе Талмуда говорили, что пути небесные сияют для него как улицы его родного города. Хасидизм переворачивает это положение: лучше, если улицы родного города сияют для человека как пути небесные. Ибо мы должны стремиться к тому, чтобы именно здесь, где мы сами стоим, воссияла скрытая божественная жизнь.

Если бы мы обрели власть над всеми частями света, она не дала бы нам той полноты существования, какую дает незаметное, преданное служение окружающей нас жизни. Если бы мы познали тайны высших миров, это не привело бы нас к тому подлинному включению в истинное существование, какого можно достигнуть, выполняя со святым умыслом свои повседневные обязанности. Наше сокровище зарыто под очагом нашего собственного дома.

Баал-Шем учит, что встречи, которые происходят в нашей жизни с любым предметом или существом, полны сокровенной значимости. Люди, с которыми мы живем и видимся; животные, которые помогают нам в сельских

работах; земля, которую мы возделываем; материал, которому придаем форму; орудие, которым пользуемся, — во всем этом содержится таинственная духовная субстанция, и от нас зависит, сможет ли она обрести свою чистую форму, стать совершенной. Если мы пренебрегаем этой духовной субстанцией, встретившейся нам на пути, если мы заботимся только о сиюминутных целях и не вступаем в реальное взаимоотношение с существами и вещами, в жизни которых мы должны участвовать, как и они — в нашей, то мы сами будем отчуждены от истинного, реализованного существования. Я убежден, что это учение глубоко верно по своей сущности. Душа, обладающая самой высокой культурой, остается по существу бесплодной и опустошенной, если ее не омывают изо дня в день воды жизни, струящиеся из этих малых встреч, которым мы отдали должное; самая грозная сила является, по существу, бессилием, если душа не верна тайному завету: поддерживать эти контакты — смиренные и благотворные — с чужим и все же близким бытием.

Некоторые религии не считают наше земное существование истинной жизнью. Они либо учат, что все, что мы видим,— простая видимость, за пределы которой следует проникнуть, либо, что эта жизнь — лишь преддверие подлинного мира, преддверие, которое нужно пройти, не придавая ему особого значения. Иудаизм, напротив, учит, что то, что человек, исполнившись святого умысла, делает здесь и сейчас, не менее важно, не менее истинно — ибо является хоть и земной, но ничуть не менее действительной связью с Богом, чем жизнь в мире грядущем. Это учение нашло свое наиболее полное выражение в хасидизме.

Рабби Ханох говорил: "Другие народы тоже верят, что существуют два мира. Они тоже говорят: "В мире ином". Разница бот в чем. Они думают, что эти два мира несовместимы и противоположны, а Израиль верит, что они, по существу, составляют одно и в действительности станут единым целым".

В своей подлинной сущности эти два мира — одно це-

лое. Они как бы удалились друг от друга, но они должны снова слиться воедино, став тем, что они есть в своей подлинной сущности. Человек создан для того, чтобы объединить эти два мира. Он вносит свой вклад в дело этого воссоединения, если живет святой жизнью в том мире, куда он помещен, на том месте, где он стоит.

Однажды рабби Пинхасу рассказали о великой нищете среди нуждающихся. Он слушал, погрузившись в печаль. Потом поднял голову. "Приведем в мир Бога, — сказал он, — и всякая нужда будет утолена".

Но возможно ли в мир привести Бога? Не высокомерная ли это, не самонадеянная ли мысль? Как смеет жалкий червь касаться того, что зависит лишь от милости Божьей: решать, какую часть Себя уделит Он Своему творению?

В этом опять еврейская доктрина противоположна другим религиозным учениям, и снова свое наиболее полное выражение она получает в хасидизме. Милость Божья состоит именно в том, что Он хочет, чтобы человек завоевал Его, что Он дается ему, так сказать, в руки. Бог хочет прийти в свой мир, но он хочет прийти в него через человека. В этом тайна нашего существования, сверхчеловеческий шанс человечества.

"Где обитель Бога?"

Этим вопросом рабби из Котца удивил множество ученых мужей, бывших у него в гостях.

"О чем тут спрашивать, — засмеялись они, — не полон ли весь мир славы Его?"

Тогда он сам ответил на свой вопрос:

"Бог обитает всюду, куда человек впускает его".

Это и есть конечная цель: впустить Бога. Но мы можем впустить его только туда, где мы сами находимся, где мы живем и где мы живем истинной жизнью. Если мы поддерживаем священное общение с тем маленьким миром, что нам доверен, если мы помогаем священной духовной субстанции выявиться в той точке Творения, где мы живем, то в этом своем месте мы закладываем обитель Божественного Присутствия.

КРИТИКА



Аркадий БЕЛИНКОВ

"СОБИРАЙТЕ МЕТАЛЛОЛОМ!"

Отрывок из книги "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша".

Трагична судьба русского писателя. Когда ему становится очень плохо, он стреляется, уходит ночью через окно из дому, спивается, перестает писать.

Особенно тяжело несут свой крест те, кто так старался, так старался всегда идти в ногу со временем (да еще при этом на цыпочках).

Самое неприятное было то, что слишком часто приходилось переменять ногу. Но ведь не все могут это делать легко и быстро, гуляючи, припеваючи, играючи, напевая, танцуя, плюясь и сморкаясь.

Во все революционные и особенно послереволюционные эпохи, когда человеку приходится заново налаживать взаимоотношения с миром, неминуемо появляется большое количество людей, занятых главным образом тем, чтобы вовремя поспеть.

Один из первых документов, обративших внимание на таких воях послевающих, был издан в эпоху Французской революции — 11 Мессидора 1 года Республики (1793). Документ подписан председателем комиссии по народному просвещению Пэаном. В нем сказано: "Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть... В итоге они лишь развращают вкус и понижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха..." *

Юрий Олеша никак не мог стать по-настоящему юрким автором; он часто путал моду и окраску данного сезона; он не умел ловко похищать мимолетное торжество и срывать цветы эфемерного успеха. И, несмотря на большие усилия в этой области, так до конца ему никогда и не удалось преуспеть.

В 1924 году он верил в то, что "...мы все будем равны" ("Три толстяка").

В 1927 году он верит в то, что "...этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий..." ("Зависть").

В 1932 году Юрий Олеша твердо уверен в том, что "...впереди сияющее будущее".**

В 1934 году Олеша верит в то, что страна стоит на пороге бесклассового общества:

"На XVI съезде партии, летом 1930 года, был поставлен в порядок дня вопрос о бесклассовом обществе. Эти слова глубоко запали у меня в сердце.

Я прихожу к XVII съезду партии с работой, над кото-

* "Дом искусств", Прб., 1921, № 1, стр. 43.

** "Необходимость перестройки мне ясна. Ответ Ю.Олеша литкружку "Дворецстрой". "30 дней," 1932, № 5, стр. 67.

рой стоит вдохновенная идея бесклассового общества... (имеется в виду "Строгий юноша". —А.Б.).

Бесклассовое общество представляется мне как художнику обществом, где человек живет вне денежной зависимости от другого человека". *

Настороженно и обеспокоенно размышляет писатель о том, что такое бесклассовое общество:

— "Стало быть, вы согласны, что социализм — это неравенство?

— Это фашистское освещение коммунизма".

Так спорят в "Строгом юноше".

Через десять лет после романа о революции, в год, когда был написан "Строгий юноша", в решающий для истории русской литературы и поэтому — русской общественной мысли год, 1934, Юрий Олеша сказал:

"Власть гения... Это прекрасная власть..."

Медленно и необыкновенно поворачивается на оси десятилетие в книгах Юрия Олеша.

Он поверил в то, что власть гения — это прекрасная власть.

По крайней мере, поверил в то, что в это необходимо верить.

Он прикладывал огромные усилия к тому, чтобы верить. И часто верил не без успеха.

Вера, страх, привычка, отвращение перед необходимостью перечеркнуть свое прошлое, ужас перед одиночеством, боязнь нищеты, трепет перед тюрьмой, надежда на то, что все это, может быть, не так, а если так, то, может быть, удастся перетерпеть, необыкновенные и невиданные успехи, искусственная и безвыходная альтернатива — или ты советский художник, или враг, — все это создавало ситуацию, когда еще без гадливости можно было сказать (чуть притворившись, чуть испугавшись, чуть веря), что власть великого ума — прекрасна.

*Ю. Олеша, Литература — общее дело писателя и рабочего. В кн. "Писатели ХУ I I партсъезду", М., Московское товарищество писателей, 1934, стр. 166-167.

Но шли годы, и оказалось, что такой малостью ограничиться уже нельзя.

Увы, многие писатели полагали, что нужно все пуще писать о том, как необыкновенна, удивительна, восхитительна, замечательна и изумительна власть великого ума, карающего, уничтожающего, хорошо разумеющего, что творящего, отбрасывающего страну вспять, разрушающего ее хозяйство, разлагающего ее общество, сметающего ее интеллигенцию, растаптывающего ее демократию конечно же во имя процветания ее хозяйства, благоденствия ее общества и расцвета ее демократии. И чем более кровава и разрушительна была эта власть, тем проникновеннее и гуще следовало писать о том, что она — прекрасна.

Медленно и неотвратно длинными языками сползала ложь.

Она могла слизать общественное мнение, проникнуть в человеческое сердце, залить, затопить страну, потому что против нее не было выставлено никакого соединенного сопротивления.

Больше всего преследовалось именно соединенное сопротивление.

Шла методическая и целеустремленная расправа со всеми, кто думал иначе, нежели он сам. И чем больше было уничтожено тех, кто думал иначе, тем больше накапливалось власти в его руках.

Но люди еще не знали, как обрушится на них эта лавина власти. Они чему-то верили, чему-то не верили, боялись поверить, приговаривали: "Подумать только, Петра Николаевича сегодня ночью взяли. И профессора Буйновского тоже. И Семку-водопроводчика. Просто в голове не помещается. Чтобы профессор Буйновский тоже?.. Но, с другой стороны, меня же вот не берут?" В следующую ночь взяли.

Люди не решались поверить в злодеяние, потому что оно казалось бессмысленным, потому что рассказы о нем для многих были скомпрометированы источником — буржуазной прессой, потому что люди видели, что в

царской России не было нефтеперерабатывающей промышленности, а теперь она есть, потому что летали лучше всех, дальше всех, выше всех, потому что больше ничего не оставалось, как быть безмерно счастливыми.

Люди готовы были примириться со многим, потому что в Европе фашизм обрушивался на тех, кто дорожил свободой, попирали общественное мнение, расправлялись со всякими попытками сопротивления, уничтожал евреев, расстреливал писателей, растлевал интеллигенцию, закрывал театры, запрещал книги, фильмы, оперы и симфонии. Печать всего мира приводит "многочисленные примеры репрессий правительства Гитлера в отношении немецкой и, в особенности, еврейской интеллигенции, выражает свое удивление по поводу того, что правительство в то же время отрицает эти факты, считая, что сведения, распространяемые на этот счет за границей, ложны и имеют целью "скомпрометировать" нацсоциалистов в глазах народов. Вышло правительственное распоряжение, в силу которого всякий, имеющий родственников и знакомых за границей, обязан через них опровергнуть соответствующие сообщения мировой прессы... На смену разгромленной литературы фашисты выдвигают свою. Извлекается на свет старая фашистская литература... военно-патриотические романы".*

Испуганные безвыходностью, люди думали:

"У нас... весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен... Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии" **

Боязнь обнаружить при помощи одного порока некоторые другие заставила искать и находить оправдание тому, что само по себе, вне сцепления с другими частями-

* "В лагере фашизма. Писателям — тюрьмы, книгам — костры. (Германия)". "Литературный критик", 1933, № 1, стр. 162.

** "Великое народное искусство". Из речи тов. Ю.Олеши. "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17 (580).

ми рисунка, показалось бы неправильным и несправедливым.

Но ложь явилась не сразу во весь рост и загремела не сразу во весь голос. Она росла и вздувалась день ото дня, год от года, от победы к победе. Она преподносилась, подавалась, предлагалась, просовывалась, всовывалась, всучивалась, заправлялась, просачивалась и вкручивалась не раз навсегда, как единовременное пособие, но как ежемесячный заработок за верную службу.

Все это произошло не в один день, и никогда социологические смещения такой значительности не происходят в один день. Для этого должно пройти столько времени, чтобы одни забыли истину, другие еще не успели ее узнать, третьи поколебались, а четвертые были заняты не истиной, но главным образом окраской данного сезона.

Медленно и неотвратно сползали всеобщий восторг и ликование. И неутолимо росла уверенность в то, что сопротивляться этому невозможно.

Но еще ранним утром эпохи начали просыпаться люди, готовые восторженно принять угрюмого младенца, энтузиасты и доброхоты, кормильцы и мейстерзингеры несправедливости.

Но оставались люди, пытавшиеся сопротивляться или старавшиеся хоть не принимать участия в этой несправедливости.

Юрий Олеша читал газеты каждый день. Но там ничего не было сказано о том, что наступила самая тяжелая полоса в великой трагедии народа. Поэтому он писал много и хорошо, ведя к новым победам себя и других. Он начал привычно и восторженно бормотать. Как бормашина.

"...умственный уровень страны чрезвычайно вырос".

"...только у нас поэзия и философия стали доступны всем".

"Люди шли побеждать пустыню".

"...мечты стали действительностью".

Но острое чувство стиля не до конца оставляет пи-

сателя даже и в эти годы. Даже в эти годы он понимал, что такое речь художника и как она не похожа на нищую, ничтожную речь широкого потребления. Ему трудно написать общую фразу; общая фраза оговаривается, объясняется, писатель просит за нее прощение, он заявляет: я знаю, что делаю. "Он хотел сказать, что гордится своим народом, но он подумал, что эта фраза, сказанная без связи со всеми теми мыслями, которые переполняли его, покажется общей".

Юрий Олеша давно знает, что делает.

Он давно знает, что такое общая, казенная фраза.

Еще с 1932 года (по крайней мере) знает.

В произведении, вызвавшем острую враждебность и свист современников, в произведении, до сих пор почти неупоминаемом, — "Кое-что из секретных записей попутчика Занда" — Олеша писал: "Казенная фраза, конечно, это казенная фраза. Она во всех газетах, журналах..." * . И, многое предчувствуя, писатель оправдывается: "...если фраза казенная, это еще не значит, что она не есть выражение жизни... громкая фраза есть тоже выражение жизни". **

Очевидно, уже тогда писатель почувствовал, какую роль в жизни общества будет играть фраза.

Изысканная и обособленная от окружающей литературы стилистика Юрия Олеши вызвала резкие нападки, хотя, кроме украшения, в ней не было решительно ничего такого, что отсутствовало бы в общей, громкой, казенной, ничтожной фразе.

Но каждый хорошо понимает, что нивелированный стиль неминуемо связан с нивелированием человеческой индивидуальности. Боязнь стилистического своеобразия всегда связана с боязнью враждебной мысли.

*Ю. Олеша, Кое-что из секретных записей попутчика Занда. "30 дней", 1932, № 1, стр. 17.

**Там же.

Все чаще Юрий Олеша должен был со страхом говорить свое "собирайте металлолом".

Постепенно люди разучивались говорить соответствующими словами о большинстве вещей, о которых приходится говорить. Началась эпоха повышенной речи. В эту эпоху уже не говорили: "Надо хорошо работать". Стали говорить: "Все силы на борьбу за высокое качество труда!" Фраза: "Писательница такая-то написала хорошую книгу" — стала казаться бедной и неубедительной. Доцент в "Литературной газете" пишет так: "Глубокое проникновение в изображаемую эпоху, ее дух, быт, умение запечатлеть наиболее характерные черты этой эпохи, выразительно живописать человеческие характеры — таковы сильные стороны дарования писательницы..." * . Вместо того чтобы сказать: "Сегодня теплый солнечный день", — стали говорить: "В этот удивительный, обрызганный солнцем день". Неотвратимо приходит на ум пушкинское: "Зачем просто не сказать лошадь". Все это напоминает вот какую историю. Листая однажды французский разговорник эпохи войны 1812 года, я прочитал там такие речи: "Господин мужик" и "Я алчу кушать". В этом свете можно представить себе, что статья указанного доцента о романе "Война и мир" выглядела бы таким образом: "Эвонзвое! В тимпаны бейте! Толстой — звое! великий писатель русской земли. Та-ра-ра-рам-ра-рам..." Такое патетическое разбрызгивание всегда идет нарастая. И преграждает поток не филологическая инициатива, к которой тщетно взывают авторы статей и книг о культуре речи, но общественное потрясение. Должна была кончиться власть великого ума, чтобы "Литературная газета" выпустила номер, говорящий человеческим языком. Правда, для этого пришлось бы рассказать: что в стране не хватало хлеба, что преследовались невинные люди, что война обошлась так дорого из-за того, что не

* "Литературная газета", 1952, 20 января.

врагом были убиты лучшие полководцы, что попиралась элементарная демократия и топталось человеческое достоинство. О таких вещах, конечно, говорится без возмущенного энтузиазма и голосом, не похожим на набат.

В те годы производилась тщательная инвентаризация и взятие на учет человеческих возможностей, времени, энергии. Считалось, что все должно быть брошено на борьбу по строго определенной номенклатуре. К сожалению, номенклатура была очень ограничена, а в разделе, рассматривающем область частных человеческих отношений, просто недостаточна. Выходов же за номенклатуру старались не допускать.

Было забыто, что искусство может медленно воспитывать, а не быстро приказывать. Поэтому к человеку, пишущему любовные стихи, относились как к расхитителю общественной собственности, как к солдату, ушедшему в самовольную отлучку. Даже Маяковский в куда более легкие годы болезненно и остро ощущал свои уходы в любовную лирику и в поисках выхода создал, вероятно, самое главное в своей системе — стихи о том, как примирить любовь со строительством социализма. Он просил извинить его за то, что отрывает время от строительства социализма на любовные переживания. Он "смирнял себя, становясь на горло собственной песне". Другой поэт — Есенин — смотрел на вещи проще: взаимоотношения искусства и революции он решал по евангельской притче о динарии: — Богу — богово, кесарю — кесарево. Он говорил:

**Отдам всю душу октябрю и маю.
Но только лиры милой не отдам.**

Тема взаимоотношений искусства и общества всегда в нашей истории была важнейшей, но в разные эпохи решалась по-разному.

Наступила эпоха, когда стали считать, что искусство воздействует на людей прямо, просто и быстро.

Началось сведение всех эстетических начал к началам простоты и понятности.

Простота и понятность нужны были для того, чтобы с максимальной быстротой внушить людям идеи, считающиеся важными. Главным было поскорее от этих идей получить доход. Считалось, что если не повесить стихотворные плакаты, то план по мытью рук перед едой будет сорван.

Это неверно. Ни одно стихотворение на свете и ни одна опера в мире, все симфонические партитуры земного шара, сводный хор пяти континентов и ансамбль пляски Центрального клуба железнодорожников с закаленным репертуаром не в состоянии поднять одного лентяя на выполнение, не говоря уж о перевыполнении плана по валовой продукции, ассортименту и сортности. Но люди, не имеющие отношения к искусству, оценивают его только с точки зрения извлечения максимальной пользы (прибавочной стоимости), как они ее понимают, в максимально короткое время. Опыт всемирной истории искусств от песни Давида до последних достижений в этой области учит, что перевыполнение плана даже по валу не может быть немедленно обеспечено самыми лучшими стихами. Хорошие стихи не могут вообще обеспечить выполнение плана. В лучшем случае они могут долго и не всегда успешно воспитывать сознательных граждан, выполняющих план. Но, по-видимому, пока мы еще не так богаты, чтобы позволить себе писать хорошие стихи, которые воспитывают сознательных граждан по ассортименту и сортности. Это все очень долго, дорого и вообще не нужно. Поэтому мы стараемся писать плохие стихи и добились в этом деле выдающихся достижений.

Слишком быстрое извлечение из искусства общественной пользы призрачно и вредно, ибо воздействие такого искусства мимолетно и неглубоко, а почва искусства истощается. Проходит некоторое время, и становится ясным, что истощенная почва ничего больше родить не может.

Это обычное следствие экстенсивной системы поль-

зования, основанной на минимальных капиталовложениях и примитивной технике.

Для быстрого извлечения пользы в первую очередь следовало сделать искусство невыносимо понятным, то есть таким, как будто оно даже и не искусство, таким, которое может обмануть, сделать вид, что его яблоко настоящее. Человека учат понимать художественное произведение так: "Посмотрите на это яблоко. Оно совсем как настоящее". Такое яблоко никому не нужно. Яблоко живописи не может заменить настоящего, того зеленого, сладкого, кислого и так далее яблока, которое начинают нахваливать, тыча в голландский натюрморт. Между яблоком искусства и настоящим нет ничего общего ни в происхождении, ни в функции. Воздействие реальных вещей и природы на человека резко отлично от воздействия на него искусства. Эти воздействия могут быть близкими (даже тождественными) по значению только в том случае, когда есть специальное эстетическое намерение. Если такое намерение существует, то человек отделяет эстетическое свойство от других свойств природы. Обнаружение эстетического свойства вызывает эстетическое отношение. И вот тогда человек видит не поле, деревья и горы, а красивый пейзаж, слышит не щелканье соловья, а прекрасное пение.

Забавная путаница природы, искусства привела к одной из самых любимых идей эстетики, преподаваемой в педагогических институтах, — к проверке искусства жизнью и к вытаптыванию того искусства, которое на жизнь не похоже.

Великие художники всегда боялись отождествления природы с искусством. Спор о связях природы с искусством или об отсутствии их давний, и каждая сторона в этом споре выдвинула многочисленные аргументы. Аргумент, выдвинутый сто семьдесят лет назад Гете, мне кажется наиболее убедительным. "Право же, собачка достаточно мила! И почувствуй человек... страсть к подражанию, он бы несомненно попытался каким-нибудь

способом изобразить это создание, — не без ехидства рассуждает писатель. — Допустим даже, что подражание ему вполне удалось, но и тогда мы мало от этого выиграем, ибо в результате получим всего-навсего двух Белло вместо одного". *

Независимо от числа и убедительности аргументов, тенденция многовековой истории искусства выражена достаточно определенно. Эта тенденция заключается в том, что искусство все больше отходит от изображения природы вообще и особенно в формах самой природы.

Несмотря на это, старание заставить искусство изображать или отображать жизнь в некоторых случаях становится все более настойчивым.

Старание это бесплодно, поскольку создает несуществующие взаимоотношения искусства и жизни. Такие взаимоотношения отсутствуют, потому что искусство является частью жизни, одним из составляющих ее, таким же, как сельское хозяйство и теория упругости, как войны, строительство домов, выплавка стали и приготовление супа. Попытка навязать искусству изображение яблок, мопсов и победы над турками бессмысленна и неосуществима. Искусство, несомненно, влияет на жизнь людей, но не больше, чем другие вещи и обстоятельства, и этим оно не отличается от производства синтетического волокна, из которого делается ткань для одежды, или открытия полезных ископаемых, без которых невозможны дальнейшие успехи в развитии тяжелой промышленности. Все больше становится очевидным, что искусство это не только идеология и главным образом не идеология, а реальный предмет, влияющий на идеологию, как влияет на нее хорошая или плохая пища, одежда, газета, городской транспорт, налоговая система. Идеология людей под влиянием искусства складывается не лучше и не хуже, чем под влиянием других

*Гете, Собрание сочинений в тринадцати томах. 1932-1949, т. X, М.—Л., Государственное издательство художественной литературы, 1937, стр. 483.

предметов и обстоятельств, с которым они соприкасаются постоянно. Человека может окружать великое или ничтожное искусство. И это ничтожное искусство оказывает такое же сильное влияние на мысли и поступки людей, как и великое искусство, и если нужно превратить людей в рабов, в скотов, то искусство может внести свой вклад в это мероприятие наряду с полицией, армией, прессой, церковью, школой и железообрабатывающей промышленностью.

Юрий Олеся — писатель 20-х годов. И если он сделал что-нибудь значительное, то он сделал это в 20-е годы. В 30-х, 40-х и 50-х годах с Юрием Олешей не произошло ничего, что было бы странным, неожиданным и нехарактерным для литературы эпохи. Он хорошо писал в 20-е годы. Но в ту пору это было обычным литературным уровнем — писать хорошо. Считалось неприличным плохо писать. Но потом на некоторое время возобладали уверенность в том, что признаком высокой сознательности являются, может быть, и несовершенные, но зато понятные всем книги. Литературное развитие Олеси мало чем отличается от обычного развития художника его эпохи. Писатель был подчинен тем же законам, каким была подчинена вся литература, и поэтому проделал такую же эволюцию, какую проделали многие другие художники. Не замечалось, чтобы Юрий Олеся испытывал особенные неприятности или особенное неудовольствие от подчинения этим и некоторым другим законам.

Юрий Олеся никогда не писал лучше и никогда не писал хуже, чем позволяли обстоятельства. Лучшие и худшие вещи Олеси совпадают с лучшими и худшими годами нашей жизни, с более темными и менее темными полосами нашей судьбы, с более трагическими и менее трагическими страницами истории нашей литературы.

"Три толстяка" были написаны в 1924 году, а "Зависть" — в 1927-м.

Это еще было рядом с революцией, и еще можно было спорить, от кого идет герой Олеси — от Толстяка или от оружейника Просперо.

"Строгий юноша" — вещь симптоматичная, тарелкинская, до краев полная молодой радостью сдачи и забегания вперед,— написан в 1934 году.

Рассказы 1936-1949 годов присягают в верности очередной кампании.

"Иволга" — присягает патриотизму, который некоторые критики стали понимать как "любовь к отечеству и как следствие этого — неприязнь, враждебность к другим, "чуждым" странам".* За пятнадцать лет до рассказа Олеша такое понимание "патриотизма" справедливо считалось шовинистическим.

"Воспоминание" присягает совершенному почтению.

"Туркмен" — "Дружбе народов".

А рассказ "Друзья" так даже забегают вперед и присягает грядущей консолидации писательских кадров.

Впрочем, два обстоятельства несколько выделяют Юрия Олешу из массового историко-литературного процесса.

Первое обстоятельство заключается в следующем: Олеша понимал, что законы развития искусства в обществе распространяются на него в той же мере, что и на других, и что если снимают с репертуара "Леди Макбет Мценского уезда" и не доводят до премьеры Четвертую симфонию, то ему, Олеше, тоже будет труднее писать и печататься.

Второе обстоятельство состоит в том, что Олеша не хотел, чтобы законы развития искусства в обществе распространялись на него в той же мере, что и на других. Он не любил массовых способов. Со свойственным ему даже в эти годы индивидуализмом он отвергал типовые проекты взаимоотношений художника с обществом.

Юрий Олеша ехал в той же литературе и в том же направлении, в каком ехала вся отечественная словес-

* В.З.Овсянников, Литературная речь. Толковый словарь современной общелитературной фразеологии, М., "Молодая гвардия", 1933, стр. 186.

ность 30 - 50-х годов. Разница была лишь в том, что он не сидел в этом трамвае, держа на коленях толстый портфель, как это делали его потолстевшие коллеги, а висел на подножке, развеваясь, как флаг русского свободомыслия, и изредка выкрикивал, что у него нет билета, что он едет в грядущее зайцем и что вообще он весь совершенно загаженный своей интеллигентностью. Но это были привычные историко-литературные резиньяции, непонятные народу и переполнившие отечественную словесность последних полутора веков, что, впрочем, не сыграло сколько-нибудь серьезной роли в ее поступательном движении вперед.

Для того чтобы все это было понятным, я должен рассказать небольшую поучительную и в то же время печальную историю. История эта такова.

Один некогда замечательный писатель (будем условно называть его "учитель танцев Раздватрис в новых условиях"), великий и горький грешник русской литературы, каждая новая книга которого зачеркивала каждую старую его книгу, улыбающийся человек, повисший между ложью и полуправдой, понимающе качивал головой.

Пили чай.

Этот человек считает, что время всегда право: когда совершает ошибки и когда признает их. К этому человеку ходит много людей. Одни презирают его, другие, напившись чаю, хохочут над ним.

Пили чай. Обменивались жизненным и литературным опытом. Шутили.

Один из присутствовавших, давясь хохотом, рассказывал, что в издательстве "Советская Россия" чуть не вышла хорошая книга.

Другой, катая от смеха голову по тарелкам, вспомнил, как он по ошибке переспал с женой одного своего друга, а должен был переспать с женой другого.

— В годы культа, — рассказывал улыбающийся человек, — бывали случаи, когда в издательстве заставляли писать, что Россия — родина слонов. Ну, вы же

понимаете, — это не дискуссионно. Такие вещи не обсуждаются. Одиссей не выбирал, приставать или не приставать к острову Кирки. Многие писали: "Россия — родина слонов". А я почти без подготовки возмутился. Я сломал стул. Я пошел. Я заявил. "Вы ничего не понимаете. Россия — родина мамонтов!" Писатель не может работать по указке. Он не может всегда соглашаться.

Юрий Олеша не соглашался.

Черт возьми!

Он писал: "Россия — родина мастодонтов".

"...мечты стали действительностью", — писал Юрий Олеша, каждое новое произведение которого стало зачеркивать каждое его старое произведение.

Он был сыном века и вместе с веком делил его достоинства и недостатки.

ИЗ ПРОШЛОГО



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

Я НЕМЕЦ...

ВОЙНА

Война застала нашу семью на даче в подмосковном поселке Быково. Строить дачу отец начал задолго до войны. Он вкладывал в нее массу сил, сам вместе с рабочими возил из леса стройматериалы, любовно следил за тем, как укладывается каждое бревнышко, и был безмерно горд, когда наконец на небольшом участке в тринадцать соток вырос дом с двумя террасками и мансардой с балкончиком, чем-то напоминавшим капитанский мостик на новеньком судне.

Мансарда, или, как ее называли в нашей семье, "верх", считалась персональной обителью отца. Он ночевал здесь один и более всего любил на рассвете выходить на балкончик и любоваться живописными быков-

Отрывок из книги "Покинутая Россия".

скими окрестностями. Возможно, и впрямь ощущал себя капитаном этого благополучного семейного судна, созданного собственными руками.

Отец говорил, что у него лучшая дача в поселке, не считая, конечно, усадьбы Горжевского, о ком только и было известно, что в прошлом он находился на крупной работе, а в тридцать седьмом году был взят и его великолепная светло-голубая вилла постепенно приходила в упадок.

Отец вообще был увлекающимся человеком. Официальная карьера ему не удалась, да он к ней и не очень стремился после тридцати седьмого года, и вся энергия его была теперь подчинена дому. Один предмет увлечения сменялся другим. Какое-то время он коллекционировал саксонский фарфор. Затем — часы редких марок. Потом почему-то увлекся чемоданами. Его знали в комиссионных магазинах и о каждой вновь поступающей новинке незамедлительно сообщали по телефону.

К тому времени мы переехали в большую комнату на Петровский бульвар. Комната была вечно заставлена редкими вещами (благо отец прекрасно зарабатывал!). Однажды он приехал на грузовике и торжественно сообщил матери, что ему посчастливилось достать личный письменный стол Левитана. Стол, исполненный в стиле "ампир", действительно был красавцем и занял едва ли не полкомнаты. Сам отец за ним никогда не сидел, не работал. Ему просто было приятно рассказывать, что в его доме стоит личный стол Левитана.

Между прочим, я в своей жизни тоже всегда чем-то увлекался, хотя никогда не собирал ни саквояжей, ни фарфора и всерьез даже не коллекционировал марки. Разве лишь амплитуды моих увлечений, часто неожиданных и фантастических, помогают мне угадывать в себе эту отцовскую черту.

В четырнадцать лет я вдруг открыл в себе талант чтеца. Подражая у зеркала то Яхонтову, то Качалову, разрабатывал голос, готовясь к концертам в военных госпитолях. Но в один прекрасный день понял, что актером

мне не быть и возмечтал научиться водить автомобиль. На "Шкоде", привезенной двоюродным братом во время войны, я перепахал все Быковские просеки. Кончилось тем, что, едва не угробив машину, так и не получил прав.

В Юридическом институте с головой ушел в комсомольскую работу, видя в ней прямой путь к политической деятельности. И едва ли не с тем же рвением постигал латынь, пребывая в уверенности, что современным Комодовым невозможно стать, не изучив в подлиннике кодекс Юстиниана.

После института, не солоно хлебавши на юридической работе и разъезжая по клубам Подмосковья, загорелся идеей написать повесть о молоденькой культпросветчице, уехавшей из города в село, о ее мечтаниях и мытарствах. И, возможно, именно тогда впервые ощутил в себе пристрастие к литературе, желание писать. Как и у отца, мои увлечения рождались спонтанно.

Став корреспондентом Московского радио, я довольно скоро пришел к выводу, что радиожурналистика не мое амплуа, как не мое амплуа вообще писать о жизни в розовых, радужных тонах. Я вступил на рискованную стезю газетного фельетониста, полагая, что только сатира, фельетон могут по-настоящему будоражить гражданский темперамент. Целыми днями я просиживал в судах, собирал материалы, пока не потерпел после одного из фельетонов такое крушение, что едва не оказался за бортом жизни.

В тридцать восемь лет мной вдруг овладела мысль, что моя подлинная стихия — море. Весной 1967 года я ушел вместе с мурманскими рыбаками к берегам Северной Америки. Работал с матросами в трюме на Флемиш-Капе и Нью-Фаундленде. Пересек на маленьком СРТ-118 "Стриж" Саргассово море, где рыбачил хемингуэевский старик, а когда вернулся, написал обо всем увиденном роман "Аква Пура", так и не изданный до сих пор.

Можно и дальше продолжать этот каталог моих

пристрастий, но в нем все равно не нашлось бы места тому, к чему я пришел сегодня.

Один знакомый мне рассказывал, что он много лет был равнодушен к идее еврейского территориализма и государству Израиль, но однажды ночью его "ударил" — и он проснулся сионистом. Я воспринимаю это как милую шутку, ибо слишком хорошо знаю, что в жизни так не бывает.

Мне кажется, что в характере человека, как в земной коре помимо рек и речушек, омывающих ее поверхность, действуют и копятя невидимые глубинные потоки, которые рано или поздно взламывают почву и оказываются на поверхности. Вот так, наверное, и я, незримо для окружающих, невидимо для самого себя, плутая и делая зигзаги, шел к познанию собственной личности, к пониманию того непреложного факта, что в течение всей жизни я был и остаюсь евреем. Кто знает, когда начался этот путь — до войны ли, на Нарышкинском бульваре, или позже, когда я оказался в эвакуации, в Томске. Война есть война. Взрывами и бомбами она перепахала земли России. Но кому ведомо, что происходило в ее недрах, в миллионах ее людей, поставленных лицом к лицу с трагедией и ужасами войны.

... Утром 22 июня 1941 года я, во всяком случае, был далек от всех этих мыслей. В воздухе по-летнему парило. Чем точно я занимался в то утро, не помню. Отец, стоя в одних трусах, окучивал, кажется, клубнику. Он обожал копать на участке и на этот раз так увлекся, что не сразу услышал голос матери: "Борис! — кричала она. — Скорее иди, кажется, война!"

По радио уже выступал Молотов, а отец, опустив мотыгу, непонимающе смотрел на мать. Взрослые, в отличие от детей, не верили в реальность случившегося. Они не играли в военные игры, не сдавали на значки БГТО...

От слова "война" у меня захватило дух: наконец-то! Вместе с моими дачными приятелями Борисом Бурмистровым и Ариком Андерманом мы шли от калитки к

калитке и, как сумасшедшие, горланили: "Война! Вы слышали, война!"

Будто приехал в Быково цирк шапито или через пять минут начнется солнечное затмение. В быстром исходе войны никто из нашей троицы не сомневался (да и кто тогда сомневался в этом!). Страна ворошиловских стрелков, где каждый давно уже был готов к труду и обороне, в несколько дней разобьет фашистов на их же территории...

На всю жизнь врезался в память первый день войны. Но почему-то исчез второй, третий, пятый день... Все смешалось, все полетело кубарем. Лишь помню, что радио бесконечно играло: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна..." — единственный звук из немой, изодранной ленты, которую с трудом прокручиваю в памяти.

... Южный речной порт. На теплоходе "Михаил Калинин" мы плывем в Горький. Мы — это мать, я, жена моего дядьки тетя Люба и мой двоюродный брат Гарик, он же Чичик, как прозвали его во дворе на Большой Каланчевке, где жили они до войны. А потом — пустота. Горький — пустота. И почти двухнедельный путь от Горького до Томска — тоже пустота.

Лишь временами лента высвечивается и появляются эшелоны. Только не те грозные, парадные, что заполнили собой послевоенные фильмы, а те несчастные, с вонью, со скарбом, с полураздетыми матерями и детьми, которые не ехали — ползли на восток, гонимые ужасами войны и оккупации.

Совершенно не помню лиц наших соседей по вагону, но мне кажется, что все они были одеты по-летнему, в какие-то невообразимые пестро-клетчатые регланы, какие никогда не продавались в Москве. Из коротеньких обшарпанных рукавов у них вечно торчали красные замерзшие руки. Говорили они не по-русски, точнее, не говорили, а перекрикивались из одного конца вагона в другой.

После войны, не помню уж в связи с чем, мать как-то

заметила: "Помнишь этих шумных польских евреев? Мы вместе с ними в эвакуацию ехали".

Тогда я, конечно, не знал, что все это евреи. Думал, просто беженцы из западных областей. Но в Томске стал их недолюбливать за то, что они вечно заполняли толкучку своими заграничными обносками, рядом с которыми на наш с мамой "москвошвеевский" товар уже никто не хотел смотреть.

Московский шарикоподшипниковый завод, или просто "Шарик", где тетка работала еще до войны, обосновался близ станции Томск II в шестнадцати кирпичных корпусах бывшего военного городка. В восьми корпусах разместились цеха, а в других восьми — работники завода с семьями.

В той рваной, клочковатой ленте, которую я, впрочем без особого успеха, пытаюсь восстановить, сохранился такой кадр: на перроне измученные долгой и тяжелой дорогой люди со своим жалким домашним скарбом и среди них мы с братом, сидящие среди чемоданов и мешков. Дует пронзительный ноябрьский ветер, какие только и бывают в Сибири.

Пока мать с теткой искали подводу, брат потребовал, чтобы я уступил ему место на большом кожаном чемодане. Я, разумеется, отказался — чемодан купил отец во время своего чемоданного увлечения и, по праву собственности, сидеть на нем должен был я. Брат разревелся. Я обозвал его Чичиком несчастным и велел замолчать. Но не тут-то было. Он с ревом помчался вдоль перрона искать тетку, чтобы немедленно на меня пожаловаться. Вообще это была на редкость кляузная и плаксивая личность. Будучи моложе меня на три с лишним года, он требовал, чтобы я всегда и во всем ему уступал, что я делать решительно отказывался. Вспыхивали ссоры, он поднимал дикий рев. В такие минуты я его ненавидел, кричал ему: "Чичик! Очкарик! Чичиковская галерея!"

Разревелившись, он незамедлительно вытаскивал на свет божий мою дворовую кличку "старик", "стариков-

ская галерея". Это с моей точки зрения было уже слишком — старшего брата он обязан был уважать и за "старика" тут же получал по физиономии. Как теперь понимаю, у меня характерец тоже был не сахар.

Поселили нашу семью в проходной десятиметровой комнатенке на втором этаже. Рядом жили молодожены Драгунские: он — Еська из кузницы, она — его молодая жена и иждивенка Берта.

Еська был здоровенный верзила. Ходил руки в карманы, матерился как извозчик. Говорил не "мастер", а "майстер", не "диспетчер", а "биспетчер". На заводе, по-видимому, в знак высокого уважения его звали не Еськой, а Васькой. В отличие от него Берта была интеллигенткой, ходила в мантио под котик и мужа звала Иосифом.

На одной лестничной площадке с нами жила семья Шмидтов. Тридцатилетний Толя Шмидт — замначальника ОТК и его жена Тося, работавшая вместе с теткой в ОТК нормировщицей. Тося в свои двадцать лет во всем подражала тетке: так же, как она, никогда не выпускала изо рта папиросы и даже говорить пыталась низким, как у тетки, басом. Впрочем, до теткингого самообладания ей было далеко, она то и дело прибегала к нам вся в слезах из-за своего Шмидта: то запил, то видели его у проходной с какой-то фифой из ОРСа...*

В первый же вечер в Городке выключили свет. Тося принесла нам коптилку и мутный флакон керосина. Шмидт сказал, что света теперь вообще не будет — цехам и без того не хватает электроэнергии.

В доме был отчаянный холод, в окна дул ветер, и едва теплившаяся коптилка поминутно гасла. Тетка легла с матерью. Меня положили с братом. Кровать была скрипучей, узенькой, и лежать мы могли только боком. Чичик потребовал, чтобы я пустил его к стенке и нахальство потянул на себя большую часть одеяла, за что тут же

* ОРСы — заводские отделы, снабжавшие рабочих продуктами питания во время войны.

получил под зад коленкой. Но перед лицом обрушившейся прозы жизни, по-видимому, крика решил не поднимать и, поджав под себя свои тощие и не по возрасту длинные ноги, миролюбиво засопел.

С братом я теперь редко встречаюсь. Респектабельный инженер-электронщик, почтенный отец семейства... Даже странно, как мог плакса и вечный кляузник Чичик превратиться в этого мягкого, доброго человека. Томск он вспоминает с трудом. Говорит, правда, что помнит Еську Драгунского с его "майстером" и "биспетчером" и еще что-то в том же духе. И вообще, если бы не супы из крапивы, которыми никогда нельзя было насытиться, то это было не такое уж плохое время. Вот только двор там был преотвратный, одни братья Астаховы чего стоили...

— А Колобка, а "рыцаря" помнишь? — пытаюсь оживить в его памяти воспоминания.

— Нет, этих не помню. Ну что ты хочешь, сколько мне тогда было...

Дворы в России — это особая область жизни. До войны мать вообще старалась не пускать меня во двор. Чему можно там научиться? Самому плохому. Двор в "Бахрушенке" я почти не помню и даже не представляю, когда я успел обзавестись кличкой "старик". Зато помню, что в Томске дворовая компания сложилась с неимоверной быстротой и с ее нравами я познакомился сразу же после приезда.

Мать послала меня в баню. Я спокойненько разделся, взял "шайку", но не успел войти в банный зал, как замер, пораженный увиденным: пятеро ребят во главе с плотным, мускулистым отроком, загнав в угол взрослого человека, с радостным гиканьем обдавали его киятком.

— Пали его! Пали! — кричал мускулистый.

Вскоре я разглядел лицо человека — это был Левин из отдела главного механика, ехал в Томск вместе с нами, в соседнем вагоне. Ребята так и не дали ему домыться, а я, забившись с "шайкой" в угол, предался невесе-

лым размышлениям: если они так ведут себя с Левиным, то что же они сделают со мной.

А вскоре жизнь вплотную столкнула меня с этой компанией. Вышел я как-то из клуба после кино, и тот же мускулистый с узкими глазками — я уже знал, что его фамилия Астахов, — подозвал меня.

— Эй, еврейчик, крикнул он, — драться умеешь?

Превозмогая страх, я подошел и, стараясь не выдавать волнения, спросил, в чем дело.

— А в том, что стыкнись с Колобком. Колобок маленький, тощий, а ты вон какой дядя...

Нас тут же обступила компания астаховских дружков. Впереди стоял сам Колобок, маленький, наголо остриженный бандюга, готовый сию же минуту исколошматить меня. Вдруг он покровительственно улыбнулся и сказал:

— Абрам, ты брынза хочешь?

И в этот момент получил от меня сильный удар в переносицу. Из носа у него хлынула кровь, он стал орать, что убьет меня, но на него уже никто не обращал внимания. Легендарная слава Колобка была похоронена раз и навсегда.

А через несколько дней уже другой, по кличке "рыцарь", из той же компании снова окликнул меня:

— Эй, еврейчик!

Я не обернулся, но из-за спины услышал деловитый голос Астахова:

— Он не еврей, он только наполовину, мать у него русская, в ОТК работает.

В первую же осень, как мы приехали, начался голод. Конечно, не такой, как в Ленинграде во время блокады. Но сколько помню себя, в те дни я всегда хотел есть, и тарелки из-под супа мы с Чичиком добела облизывали языком.

Тетка, как "цеховой персонал", получила рабочую карточку, мать, как бухгалтер, — карточку ИТР.

*ИТР — инженерно-технические работники.

В общем, на четверых получали восемьсот граммов хлеба и еще по два талона на обед. Обед обычно состоял из маленькой тарелки овсяной жижицы и крошечной хлебной галушки. За обедами ходили с Чичиком по очереди и каждый раз должны были часами выстаивать на ветру. В очередях поднимались драки. Я видел один раз, как две женщины, не поделив миски супа, сцепились друг другу в волосы и в истерике катались по лужам. Но часы стояния не всегда увенчивались успехом.

Однажды на глазах всей очереди у Чичика отняли бидон с супом и вдобавок ему еще разбили очки. Другой раз он вместо двух принес одну галушку, сказав, что недодали. Вечером с ревом сознался, что съел сам, не выдержал.

После этого на семейном совете решили: Чичика за обедами больше не посылать и роль домашнего ОПСа целиком возложить на меня.

В шесть-полседьмого вечера на дворе уже было совершенно темно, и, чтобы экономить керосин, все старались пораньше укладываться спать. Под свет гаснущей копилки я читал Чичику вслух Жюль Верна — долго он обычно не выдерживал, засыпал.

Мать с теткой тоже укладывались. Еська с Бертой ложились раньше всех — эти молодожены были ужасные сони и лежебоки. В квартире наступала тишина. Лишь со двора еще долго неслись гул и лихие куплеты. Запевал обычно Астахов или "рыцарь". Астахов — басом, "рыцарь" — тоненьким женским тенорком:

**Сара разговор ведет в тунеле —
Мы с тобой неглупые евреи.
Наши там не зевают,
Города занимают:
Омск, Томск, Куйбышев, Саратов и Ташкент.**

В квартире стояла мертвая тишина. Где-то в углу скреблись мыши, которым был голод не в голод. Тетка с ожесточением начинала искать в темноте папиросы. Берта всхлипывала и говорила Еське, что она ужасно

боится. Еська сопел, но предпочитал молчать. Если горланили громко, то просыпался Чичик и начинал свою склоку из-за одеяла — нашего вечного яблока раздора. Получив под зад пинок, он поднимал страшный рев. Вмешивалась тетка и громко, на всю квартиру, стыдила меня. Еська тоже вдруг обретал голос. Стуча к нам в стену, он орал, чтобы дали людям спать. А с улицы еще долго доносились лихие куплеты:

**Все абрамы и евреи,
Где же русские лакеи,
Врешь, еврей, от смерти не уйдешь...**

Вот так начиналось мое отрочество, в гуще жизни, которая в официальной печати давно получила оценку как жизнь беспримерно мужественная, как героический тыл войны.

Возможно, оттого, что слово "героизм" в Советском Союзе уже давно переживает инфляцию, мне в голову приходят иные слова, иные ассоциации, связанные с тогдашним восприятием жизни.

В памяти сохранилась узенькая каменная лестница, всегда погруженная в темноту, с вонючими кучами мусора, вываленного на ступеньки, с крысами, шныряющими из угла в угол. В Москве на Петровском бульваре таким жутким и грязным был черный ход, куда выносили мусорные ведра и куда мать меня выставляла за особо тяжкие провинности. И примерно также выглядела в Томске лестница, по которой мы взбирались в свою полутемную конуру.

Сейчас эти детские впечатления все чаще приходят в голову. Кажется, что, очутившись за тысячи километров от фронта, я видел такие стороны войны, которые оставались скрытыми даже там, на передовой. Темная лестница с крысами и вонючими кучами мусора вырастает в некий символ, словно сама война оборачивалась с черного хода. Там, на фронте, были пули, была смерть и измены, но было и воинское братство, и стойкость, и воистинно геройский подвиг. Россия как бы являла миру свой

мужественный и веками воспеваемый поэтами лик. В тылу же остались голод, грязь, ненависть. Все худшее, что веками отслаивалось в характере русского человека, вывалилось на этот черный ход войны.

Я НЕМЕЦ

Все произошло в школе, и в памяти даже сохранился ее номер — Томская железнодорожная школа № 44, — двухэтажный деревянный дом, крытый ржавой толью и омываемый со всех четырех сторон черной осенней жижей. Так что и к порожку невозможно было подобраться, не вымесив метров десять по лужам.

Почему-то встреча с этой школой меня страшила больше всего. Вероятно, пугала неизвестность. Как бы там ни было, а в военном городке, где разместился "Шарик", обитали "свои", москвичи.

В школе меня ждала встреча с сибиряками, о которых я знал только, что они на своей земле хозяева и потому могут делать с такими незваными гостями, как я, все что им заблагорассудится .

В детстве я слышал о гостеприимстве и широте характера сибиряков, но то происходило в другом, почти сказочном мире, там вообще все было удивительно складно, а теперь, среди голода и ужасов эвакуации, среди окружавшей меня национальной ненависти, мне не давал покоя совершенно реальный вопрос: как я буду встречен в пятом классе сорок четвертой железнодорожной школы со своей далеко не славянской внешностью и своей далеко не русской фамилией Перельман.

От этих недобрых предчувствий я преисполнился еще большей ненавистью к немцам, уже подходившим в то время к Москве. В мечтах я зывал к помощи некоего ангела-спасителя. Он обрушит на голову Гитлера чуму или какое-нибудь другое смертоносное средство, избавив нас с матерью от мук эвакуации, или, по крайней мере, придет мне на помощь в трудный момент моей

томской жизни, поджидавшей меня в неизвестной мне сорок четвертой железнодорожной школе.

Какая удивительная ирония судьбы! Моим ангелом-спасителем, избавившим меня в школе от клички "жид" и национального унижения, явится человек по имени Александр Адольфович Кнолль, немец, высланный властями из Поволжья в Сибирь, как представитель нации, ведущей войну с моей социалистической Родиной. И еще большая ирония в том, что я сам на время превращусь в немца. И именно благодаря этому надолго забуду кличку "жид" и обрету среди сверстников подлинно романтический ореол.

Итак, в один из слякотных осенних дней я все-таки оказался в сорок четвертой железнодорожной школе. В класс меня ввела сама директриса, седовласая, с очень живым лицом старушка, внешне чем-то похожая на старосветскую помещицу. С учениками, как скоро заметил я, она старалась держаться на товарищеской ноге и, обращаясь к ним, всегда начинала со слова "друзья". За глаза ученики почему-то звали ее Сарочкой.

Меня она ввела, ласково обняв за плечи своими белыми в кружевах руками, и, подведя к доске, сказала, что я только что из Москвы, Москву каждый день бомбят немцы и она надеется, что 5"А" примет новичка достойно, с истинно сибирским гостеприимством.

Речь Сарочки была воспринята моими однокашниками сдержанно. Лениво глаза то на меня, то на директрису, они продолжали спокойно жевать серу.

Не успела директриса удалиться, а я — занять указанное мне место на предпоследней парте, как над самым моим ухом грозно просвистела картонная пулька, пущенная из рогатки, за ней — другая...

Кто-то с неистовым упорством старался угодить мне в затылок. Я обернулся и увидел довольно колоритную триоцу: в центре — беленькую, с тонкими, как два кренделя, косичками пигалицу. Воплощенное прилежание, она не сводила глаз с учительницы. Позже я узнал, что ее фамилия Бастрыгина. По обе стороны от этой

"святой Магдалины", мощно работая челюстями, восседали две личности, явно не предвещавшие мне ничего хорошего. Это были наводившие на всю школу страх Репета и Дыкин. Репета с наголо обритой головой и нежным, как у девушки, лицом. Дыкин — такой же мощага, но с челкой и лицом явного головореза.

Увидев их впервые, я меньше всего предполагал, что очень скоро оба станут моими приятелями. Дыкин будет подходить ко мне на переменах и, весело хлопая по плечу, говорить: "Шпрехен зи дойч — немец? Немец — это зер гут".

Многие из событий той осени, событий, куда более существенных, не сохранились в памяти. Многие остались лишь в виде туманных контуров, а тот первый день в школе так и живет в самых мельчайших деталях.

Помню совершенно точно; был урок географии. Географичка, голосистая и веселая толстуха, расхаживала с указкой по классу и перечисляла культуры, произрастающие в республиках Средней Азии: чай, рис, тутовое дерево, хлопок... Она говорила на хлопок, а хлопок, звонко, с ударением на последнем "о" и пристукивая в такт указкой.

"Камчатка", всецело поглощенная моей персоной, явно ее не слушала. Особенно неистовствовали два брата Шлыковых. Оба черные, как цыганята, они корчили мне в затылок рожицы и непрестанно издавали какие-то подозрительные шипящие звуки:

— Чив! Чив! Чив!.. Чуть жив! Жив! Жив! Жив!

По карнизу разгуливали воробьи и весело дубасили клювиками по стеклам. А я сидел, уткнувшись в атлас, и силился понять, к кому относятся эти странные звуки.

На перемене Шлыков-старший, уставившись в окно, на весь класс продекламировал: "Осень пришла, жида налетели". Я подумал, что жидами он все-таки называет воробьев и довольно скоро обнаружил, что слово "жид" — вообще едва ли не самое распространенное среди бранных слов в 5"А".

Жидовка — географичка, влепившая Дыкину кол, жи-

довка — Бастрыгина, не давшая Репете промокашку. И только маленькая седовласая директриса — не жидовка, а Сарочка.

Впрочем, это открытие мало облегчало мое положение. На второй или третий день я спускался по лестнице со второго этажа и услышал голос Репеты, обращавшегося к Дыкину:

— Знал бы ты, Коль, как я ненавижу жидов. Вот эти-ми бы руками всех прикончил.

Я обернулся: Репета смотрел на меня своими ясными, голубыми глазами и улыбался...

Другой раз, когда выходил я из школы, меня нагнал Дыкин и спросил:

— Эй, Пилерман, ты кто, жид или не жид? Снимай штаны, посмотрим.

Вот в этой веселенькой ситуации и явился мой ангел-спаситель, учитель немецкого языка Александр Адольфович Кнолль.

В тот день немецкий у нас был первым уроком. За окном было еще темно, и в нетопленном классе тускло горели две маленьких желтых лампочки.

Кнолль вошел своей обычной походкой (к слову скажу, такой же походкой вскоре начну ходить и я, подражая своему кумиру), чуть выдвинув вперед плечо и держа под мышкой тоненькую папочку. Он был типичный немец, хоть и не блондин, а брюнет — жгучий широкоплечий брюнет с голубыми глазами и плоским срубленным затылком.

Урок начался как обычно. Он открыл классный журнал и, коверкая фамилии, стал медленно читать список по алфавиту. Мою фамилию он также произнес неправильно: не Перельман, а Пэрльман. Прочел по журналу и, взглянув на меня, улыбнулся:

— У вас немецкая фамилия? Sind Sie ein Deutscher?

Ошеломленный вопросом, я молчал. Я не знал, что отвечать. Не мог же я пасть до такой безнравственности, чтобы во всеуслышание объявить себя немцем, но не бы-

ло у меня мужества в этой обстановке сказать, что я еврей...

— Sprechen Sie Deutsch? — словно почувствовав мое замешательство, продолжал Александр Адольфович.

— Ja, ich spreche Deutsch.

— Woher sind Sie gekommen?

— Wo sind Sie geboren?

О благословенная тантэ Кари! Что бы я сейчас делал, если бы не два года, проведенные в ее немецком кружке на сквере возле Большого театра.

— Wo sind Sie geboren? — повторяет Кнолль.

— Ich bin in Moskau geboren, — отвечаю я.

Ошалелый от услышанного, класс молчал. Кажется, если бы ввели живого гиппопотама, то и это не вызвало бы такой сенсации. В мгновение ока я стал центром всеобщего внимания. Объяснений Кнолля никто не слушал — все глазели на меня, но уже совсем не так, как в день моего появления.

На перемене Дыкин извлек из сумки горбушку хлеба, отрезал ломоть и, густо намазав его салом, подал мне:

— Поправляйся, геноссе!

Он объявил, что отныне всякий, кто вздумает приставать к немцу, будет иметь дело лично с ним.

Репета похлопал меня по плечу и добавил:

— И со мной тоже.

Шлык младший, едва перебивавшийся у Кнолля с двойки на тройку, вдруг обнаружил страшный интерес к изучению немецкого языка. Он подходил ко мне на каждой перемене, и выспрашивал, как будет по-немецки то, как — это, и всякий раз восклицал:

— Однако ниче, любопытно!

С этого дня меня больше не звали, как раньше, Пилерманом. А поскольку кноллевское "Пэрльман" никто не мог выговорить, то с легкой руки Дыкина стали просто звать "геноссе".

Вскоре слух о появлении в 5-м классе немца обле-

тел всю школу. Я становился популярной личностью, хотя сам нисколько не способствовал росту этой популярности. Напротив, каждый раз, когда меня назойливо спрашивали, верно ли, что я немец, я отмахивался или, в лучшем случае, молчал, но никогда не говорил "да". Мое смущение толковалось по-своему: раз не хочет отвечать, ясное дело, — немец. А я не разубуждал. У меня, в сущности, теперь не оставалось иного выбора, как вести игру дальше...

После войны я нередко рассказывал эту историю. Происходило это чаще всего в компании, за рюмкой коньяку. И те, кто слышал ее, обычно весело смеялись: надо ж, какой невообразимый казус, нарочно не придумашь!

Говорил я и по-другому, особенно, когда обострялся еврейский вопрос, — "Вот ведь до чего в войну дело доходило, немцем лучше было быть, чем евреем!" Давно замечено: с возрастом трезвее становится взгляд на прошлое. Но и по прошествии многих лет осталось от той истории две загадки, к которым хочу вернуться.

Первая загадка — Кнолль. Что побудило его признать немцем типичного еврейского подростка? Сочувствие к моему тогдашнему положению? Нелепая ошибка, явившаяся для меня якорем спасения? Скорее всего, ни то, ни другое.

Помню выражение лица Кнолля, когда он стал выяснять, не немец ли я. Это была даже не радость. Это было нечто большее, которое просыпалось в нем всегда, когда он спрашивал у меня урок и пользовался случаем, чтобы поболтать со мной по-немецки о всякой всячине. Кто знает, сколько он лелеял в себе эту тайную мечту встретить соотечественника, и стоит ли удивляться, что, услышав здесь, в далекой и чужой ему Сибири, родной язык, он вдруг неоглядно поверил в то, что его мечта сбылась.

Если Кнолль — из области чистой психологии, то из какой области другая загадка, существовавшая для меня много лет, я и сам затрудняюсь сказать.

Однажды, через полгода или год после прихода в новую школу, я разговорился по душам с Дыкиным и, словно между прочим, спросил, за что он так не любит евреев.

— Как за что? — взглянул он на меня с недоумением. — Да они ж все жида!

— А ты сам, Дыка, знаешь хоть одного еврея?

Снова удивление.

— Да хоть бы и не знал, все одно, всех их давить надо.

Так вот, другая загадка — это Дыкин и Репета, это дворовая Анька, дразнившая "по национальности" подругу моей дочери...

Тетка, считавшая себя стопроцентной марксисткой, каждый раз, когда слышала из окна "астаховские куплеты", возмущалась вслух:

— Черт знает что, это на тридцать пятом году советской власти!

А "дворовая Анька", могу добавить, — это уже пятьдесят четвертый год советской власти.

И также будет на семидесятом и восьмидесятом ее году.

Я слышал, как один районного масштаба партийный работник, изрядно выпив, философствовал:

— Ну, что я могу с собой поделаться, если не люблю евреев. Только не спрашивайте меня почему. Человек не переваривает рыбу. Вы же не спрашиваете его почему. Не любит — и все. Вот так и я не люблю евреев.

Мне кажется, что мои томские однокашники Дыкин и Репета, и "дворовая Анька", и этот районного масштаба партийный работник — по сути, одно и то же явление, явление чисто русское, уходящее истоками в далекую патриархальную старину.

Евреи, как генотип, вероятно, всегда противостояли этой старине, веками остававшейся неподвижной и бесконечно чуждой динамичному космополитизму "вечного жида" Агасфера.

Канула в лету "святая Русь". Нет сегодня уж и святой ненависти к жидам, кому только ни продававшим отечества. Но пока жива привычная для России недоброжелательность к чужеземцам, будет жить и предубеждение против евреев. "Почему я не люблю евреев? Да потому что не люблю и все!" Тут не прибавишь, не убавишь.

Если угодно, это область физиологии, где, как у подопытных павловских собак, условные рефлексy превращаются в безусловные, но никак не исчезают вовсе. Это сравнение можно было бы продолжить и дальше, ибо современный антисемит все чаще реагирует не на живой еврейский генотип со всеми непривлекательными чертами, которыми его обычно наделяют, а лишь на его символы — на еврейскую фамилию, на еврейское лицо, на "пятый пункт" в анкете. Да и само еврейство в его глазах все чаще выступает лишь как голая идея, воплощенная в неприятие. Но передается она из поколения в поколение, подобно тому, как наследовали россиане неприятие леших, ведьм, домовых и прочие творения темного экзальтированного ума.

КЕДРАЧ

Осенью Чичик пошел в первый класс, но это мало сказалось на его склочном характере. К приходу матери и тетки он всегда находил случай, чтобы возвести на меня напраслину — то погнал я его в самый мороз на колонку за водой и из-за этого он не успел выучить уроки, то оставил ему слишком мало места за столом и из-за этого он посадил в новую тетрадку кляксу.

Ябедничал он с ревом и при этом добавлял, что я

ударил его и отшиб ему бок или что-нибудь еще. Тетка старалась все это воспринимать философски. Но случилось, что ее материнское чувство не выдерживало.

— Гарик, — вдруг повышала она тон, — я вообще запрещаю тебе с ним водиться.

Она надувалась и, обиженно пыхтя папиросой, прекращала со мной разговаривать. Продолжалось это недолго. Дела по дому, от которых у нее с матерью не было продыха, не оставляли времени для столь тонких переживаний. Тотчас после работы ей или матери нужно было бежать в очередь за хлебом — хлебные карточки не доверялись даже мне. Затем обе брались за топку печи. Угля не хватало, и в комнате вечно стоял собачий холод.

По воскресеньям обычно отправлялись на рынок. Вместо денег, которые уже давно ничего не стоили, брали оставшиеся с Москвы обноски и подолгу расхаживали между рядов с мешками картошки, с бидонами меда и масла, пытались что-то на что-то выменять. Иногда улыбалось счастье, тогда приносили домой бутылку русского масла или полведра картошки.

В пачке сохранившихся у меня фотографий детства нет ни одной, относящейся ко времени эвакуации. Не осталось и переписки тех лет, если не считать чудом выжившего письма, датированного сентябрем сорок второго года, которое я отправил отцу в Свердловск (он выехал туда вместе со своим издательством музейной и краеведческой работы в октябре сорок первого года).

На двух пожелтевших страничках, вырванных из тетрадки "в три косых", я неустоявшимся детским почерком, по-детски подробно описываю все наши томские новости — что "погода в Сибири стоит далеко не постоянная — то сорокаградусная жара, а то ветры с дождями", что занятия, как и в прошлом году, на месяц откладываются и поэтому у меня теперь много свободного времени, которое я использую для того, чтобы хоть как-то помочь маме. Я уже научился штопать и перештопал семь пар чулок. Кроме этого понемногу читаю учебники, чтобы шестой класс, как и пятый, окончить с

похвальной грамотой. "Сейчас, — писал я, — когда все народы мира схвачены смертельной борьбой с фашизмом — этим раком всего человечества, для школьников особенно важно учиться на хорошо и отлично".

Насколько были далеки эти правильные, книжные строки от моей реальной жизни! Верно, срабатывала детская психология, согласно которой в письмах не полагалось огорчать родителей.

Не мог же я написать отцу, которому было и без того тяжело одному, да еще с его сахарным диабетом, что еврейских ребят в Томске зовут жидами, а меня не дразнят только потому, что по ошибке считают не евреем, а немцем, что почти каждый день мы ссоримся и деремся с Чичиком и что на обед едим щи из крапивы и только по воскресеньям мать с теткой потчуют нас жидкой мучной баландой, замешанной на воде, и жарят оладьи из картофельных очисток.

Кесарю — кесарево, а родителям — родительское... В письмах к отцу я с увлечением рисовал образ пай-мальчика, примерного пионера, денно и ночью помогающего маме и любимой родине. Но в тайниках души этого пай-мальчика, с раннего детства несшего груз еврейства, кипели невидимые бури. Оттого, что никто ему не мог объяснить, почему даже сейчас, во время кровавой борьбы с немецким фашизмом — этим "раком человечества", его любимая Родина была разделена на русских и жидов и, чтобы не быть жидом, он вынужден был пойти на нечеловеческое унижение и называться немцем.

Разумеется, это — логика взрослого человека и подросток двенадцати-тринадцати лет вряд ли мог рассуждать именно так. Я лишь пытаюсь понять тогдашнее свое настроение — почему с такой неукротимой жадностью стремился стать другим, ну, например, таким, как Дыкин и Репета, с такими же, как у них, плечами и мускулами.

Я приходил из школы домой и, бросив в угол ранец, так же, как когда-то до войны, подолгу глазел на себя в зеркало, на свою щуплую, сутулую фигуру. Я распрямлял плечи, выпячивал грудь и в эти минуты особенно ос-

тро чувствовал, что мне никогда не стать таким, как Дыкин и Репета, чтобы шел я по улицам и томская шпана приходила в трепет от одного моего вида. В такие минуты я презирал и ненавидел себя. Но от всего этого еще сильнее становилась жажда вырваться из своей проклятой оболочки, будившей лишь желание дразнить меня жидом, и я бессознательно искал для этого пути

Однажды я увидел у Дыкина финку и вскоре такую же выменял себе на заводе за краюху хлеба. Когда мать обнаружила ее у меня в кармане, то устроила страшный скандал, кричала, что я стал бандитом, шпаной и что она обо всем напишет отцу. Отцу она не написала, а я для себя решил, что нож в кармане брюк носить рискованно — надо припрятать его куда-нибудь подальше.

Но это были еще цветочки — ягодки начались позже: в один из летних дней я объявил матери, что завтра на рассвете отправляюсь в кедрач.

К тому времени мать уже стала привыкать к моим сюрпризам. Незадолго до того, как она обнаружила финку, меня приволокли домой с перебитой челюстью — я схватился еще с одним "гавриком" из астаховской компании и на этот раз сильно пострадал.

Другой раз по собственной инициативе проник на дровяной склад, выломав в его стене несколько горбылей, и натаскал полную кухню березовых поленьев. Когда мать пришла с завода и обнаружила ворованные дрова, она чуть не сошла с ума от страха. Она была уверена, что за мной вот-вот придет милиция и на несколько лет меня посадят за решетку. Но с кедрачом ни финка, ни кража дров не шли ни в какое сравнение.

Мать видела, кто обычно торгует на рынке кедровыми орехами, а с весны — вареными кедровыми шишками. Это был промысел коренных сибиряков. Они шли за двадцать-тридцать верст от города, притом обязательно в ночь, когда засыпали объездчики и можно было тайком пробираться в чащу и, не рискуя попасть к ним в лапы, взбираться на кедры, ломать ветви с неспелыми шишками.

Ходили слухи, что объездчикам, дабы сохранить кедрячи, дан приказ без предупреждения стрелять по лесным браконьерам. Зато на рынках этот товар шел на расхват — орехи по 15-20 рублей за стакан, шишки по 5-7 рублей за пару. Мешок шишек — и тысяча-тысяча двести рублей в кармане — ровно столько, сколько мать и тетка вместе зарабатывали за месяц.

У меня в письменном столе и по сей день лежит недописанный рассказ, материалом для которого послужил мой первый поход в кедрач. Почти все в рассказе взято из жизни.

Вот выходит из ворот военного городка странного вида компания. Одеты кто во что — кто в заводскую спецовку, кто в ватный тулупчик, а кто в такую рвань, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Шествует в этой заводской компании и мой герой, мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев. Как у каждого, у него за плечами — мешок, за поясом — нож. в руках — палка.

В таком, или примерно таком виде, и мы вышли из городка на шпалы местной однопутки и отправились в дорогу — кроме меня человек десять из кузницы, остальные — со сборки.

За главного был Резников Володька. Про него говорили, что он единственный знает кратчайшую дорогу до Ивановского кедрача, а насчитывала эта идущая полями и бродом через Томь кратчайшая дорога что-то около километров двадцати-двадцати пяти.

Я был в этой экспедиции младший, единственный школьник и, насколько помню, единственный еврей. Испытывал я двойственное чувство — с одной стороны, был непомерно горд, что решился на такое предприятие, от него даже Астахов с "рыцарем" отказались, с другой — точила меня тайная боязнь, как бы не подстроила мне судьба-индейка что-нибудь непредвиденное. Ведь наверняка ни у кого из моих компаньонов в пять лет не прилипал язык к турнику, никто в детстве не повисал так глупо на стропах парашюта, никто так по-дурацки не напарывался на гвоздь и не попадал из-за этого на целый

месяц в больницу. И если суждено мне быть неудачником, где гарантии, что судьба на этот раз смилостивится надо мной. И все же когда к ночи мы вошли в чашу, то я не думал, что, час спустя, буду стоять под кедром с рассеченным виском, безуспешно пытаюсь остановить кровь носовым платком.

Шишки сбивали по двое. Был я в паре с каким-то длинноногим из сборочного цеха. Он очень долго взбирался на кедр и, прежде чем приступить к делу, не прекращая, орал мне сверху, что у него не кедр, а пустой номер — не видать ни единой шишечки. Он-то, этот несчастный слюняк и трус, и угодил мне в висок. Но это произошло позже, потому что первым на кедр полез я, и, когда я добрался до макушки, вдруг ощутил такой страх, какого и на миг не мог представить, когда упрасивал Резникова взять меня с собой.

Вниз я смотреть не решался. Земля с длинноногим осталась где-то очень далеко, в глубокой пропасти. Кругом была темнота и ветер. Я стоял, обхватив одной рукой макушку кедра, а другой, вытянув ее во всю длину, ломал ветки с мощными гроздьями тяжелых смолистых шишек. Когда дул ветер, я раскачивался вместе с макушкой. Казалось, что под тяжестью моего тела она вот-вот треснет и я рухну в ночную бездну.

И все же, как это было ни тяжело, я старался бросать шишки в одну сторону, чтобы в лесном травостое легче их было подбирать напарнику. Это правило, о котором еще перед тем, как вошли в кедр, предупредил Резников, и нарушил длинноногий. Почувствовав страх, он стал ломать ветки, без разбора бросая их то вправо, то влево от себя и заставляя меня, как гончую, метаться из стороны в сторону, пока не угодил он мне в висок тяжелой смоленой бомбой.

Резников достал из сапога портянку и перетянул мне голову. Но все же скоро, когда, взвалив мешки на плечи, шли домой, я почувствовал слабость. К тому же мучил голод. Ломать хлеба с двумя вареными картофелинами, которые дала мать, были давно уничтожены. И я го-

тов был отдать полжизни за то, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Ноги стали ватными и словно чужими. А Резников орал и матерился, чтобы не мешкали, — в любую минуту могли нагнать объездчики. Увидев, что я валюсь с ног, он посмотрел на меня с такой ненавистью, что я подумал: вот-вот съездит по физиономии, но он, выругавшись десятиэтажным матом, взвалил на себя мой мешок, а меня взял под руку, и теперь мы шли с ним рядом, вернее, шел он, а я плелся, с трудом передвигая свои ватные, обессилевшие ноги.

Когда вышли на шпалы и до городка оставалось метров восемьсот, я сказал Резникову, чтобы дальше меня не тащил, как-нибудь доползу сам. Он молча отдал мне мешок, и я, обессиленный, свалился на шпалы. Все, что произошло дальше, было как во сне. Я и сейчас не могу себе объяснить, как, потеряв сознание, я умудрился услышать шум приближающегося поезда и усилием воли заставить себя скатиться с насыпи.

Колеса над самым ухом давили мешок с шишками, они издавали страшный скрежет и хруст, а я слабым движением рук пытался ощупать свое тело — в беспомощности мне вдруг показалось, что вагоны давят не шишки, а мои собственные кости.

На утро мать рассказала, как на рассвете подобрала меня у насыпи. Всю ночь меня искала, металась по городку, пока какое-то шестое чувство не подсказало ей, что искать надо на шпалах. По ним и шла, пока не наткнулась на раздавленный колесами мешок с превратившимися в мусор шишками.

Мать говорила, что в беспомощности я плакал, просил у нее прощения и клялся, что ни за какие миллионы не попрусь больше в кедр. Утром я ничего подобного уже не помнил. Придя в себя, деловито осведомился, сколько осталось непопорченных шишек. Мать ответила, что мало, всего с десяток или вроде того. Я велел их сварить и, корчась от головной боли, крепко себя выругал за то, что по дурости не спас мешок — чего стоило вы-

хватить его перед паровозом и скатиться с насыпи вместе с ним.

Дня через три голова зажила, и через месяц я снова отправился в кедрач. Теперь был умнее: во-первых, захватил с собой больше провизии, тайком от матери откладывал после каждой еды хлеб и накопил так граммов триста-четырееста, а, во-вторых, еще по дороге выбрал себе подходящего напарника, так что набили мы на двоих шишек триста-четырееста одна другой крупнее.

В огромном чане для белья мать эти шишки сварила, и, отправившись в воскресенье утром на толкучку, я к полудню уже наторговал на тысячу рублей. Тысяча эта у меня была строго распланирована — на пятьсот я намеревался купить меду, на триста — картофеля, двести — оставить на карманные расходы, но судьба и на этот раз распорядилась по-своему, подстроив мне капкан в таком месте, где я никак не ожидал.

Сколько раз я видел на рынке ловко орудующих карточных шулеров и всегда обходил их стороной. А в это воскресенье то ли сбил с панталыку полный карман кредиток или просто заело любопытство узнать, как плывут к людям шальные деньги, — в общем, подошел к одной из картежных компаний.

В центре кружка лихо орудовал банкомет, готовый с любым и каждым сыграть в "три листика". Все просто: покажет с ладони "три листика", то есть короля и даму с валетом. Метнет их картинками книзу — и, кажется, яснее ясного, где какая из карт...

Позади меня стояли трое, и каждому выпадало счастье. Но банкомет и не думал унывать, проигрыши будто вселяли в него азарт:

— А ну, молодой человек, попробуем! — весело подмигнул он мне. — Полсотни — не деньги, а подсекешь вальта — тысячу возьмешь.

Вот тут и вмешалась судьба-злодейка, находившаяся со мной в вечном разладе. Вначале, поставив полсотни, я вместо валета вытянул даму. Банкомет сделал вид, что хочет с выигрышем уйти, но стоявшая позади троица

"счастливицков" не пустила его. "Отыграться! Отыграться!" — сочувствуя мне, шумели они. Я сделал еще одну ставку и снова ошибся. Затем поставил еще пятьдесят рублей и еще. За каких-нибудь четверть часа спустил все богатство, доставшееся мне таким потом и кровью.

Я шел домой и едва не плакал, но мать так ничего и не узнала о случившемся — было ужасно стыдно, и я сказал, что деньги просто украли. А про себя решил, что всем смертям назло пойду в кедрач в третий раз и зарабатую эту проклятую тысячу. Но в третий поход так и не собрался. До городка дошли слухи, что лесничество усилило наряды объездчиков и что в Ивановском кедраче, куда мы приладились ходить, насмерть забили двух браконьеров. По этому поводу решили временно переждать, а там подошло первое октября, начались занятия, теперь уже в седьмом классе, и кедровая эпопея отошла, так и не принеся мне за мои каторжные труды ни рубля дохода.

Однако вернусь к недописанному рассказу, где действует мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев, как и я, обласканный довоенной московской жизнью и волей судьбы оказавшийся в эвакуации в Сибири.

В непривычной среде, в нищете и голоде он решается на отчаянное предприятие — идти вместе с местными браконьерами в кедрач и, продав на базаре шишки, отдать деньги матери. Словом, все как у меня — и такой же страх, когда он подбирался к макушке кедра, и ватные, ослабевшие ноги, и даже ночной поезд, раздавивший на шпалах мешок — последняя деталь этой пережитой мной когда-то истории.

Я брался за рассказ не однажды, но всякий раз, когда ставил точку, испытывал чувство неудовлетворенности. Мой Кирилл, идущий на отчаянный шаг, чтобы помочь матери, на бумаге почему-то получался не таким, каким хотелось его видеть.

Было в нем что-то неестественное и даже сусальное, будто звучала в повествовании неувлимо фальшивая

нота, и, сколько я ни старался, от нее не удавалось избавиться.

Лишь теперь, когда перебираю в памяти живой материал тех лет, начинаю понимать, что фальшь была заложена в самой внутренней мотивировке рассказа, где произошла неправомерная подмена персонажей.

Тринадцатилетний подросток Кирилл Патрикеев и тринадцатилетний я — совсем не одно и то же. Трезво размышляя, я далеко не уверен, что если бы и существовал в действительности такой слабосильный, неприспособленный к жизни Кирилл Патрикеев, единственный и избалованный ребенок своих родителей, то он вряд ли вот так, без всяких колебаний решился бы идти в кедрач, рискуя сломать голову.

И дело тут не в том, что один оказался более храбрым или более отчаянным, чем другой, а в том единственном, проливающим свет факте, что один был еврей, тогда как другой им не был. Именно мое еврейство делало меня таким, каким себя помню в Томске. В ответ на национальные унижения рождалась защитная реакция. Если вокруг я только и слышал, что все евреи — трусы, слабосильные, не только воевать, но и драться путем не умеют, то чем же я мог доказать обратное? Доказать раньше всего самому себе. Вот и заимел в кармане нож. И дошел до такой дерзости, что под носом у заводской охраны проник на дровяной склад. И кедрач был из той же области... — по-своему, по-детски я утверждал себя и свое национальное достоинство.

То, что в школе меня превратили в немца, делало мою реакцию лишь более острой.

С детства я жаждал стать похожим на миллионы моих русских сверстников. Так же, как они, бегать на лыжах и как они не картавить, а по-русски твердо выговаривать букву "р". Теперь все чаще думаю, что подсознательно жила во мне жажда иного рода. Сам того не подозревая, хотел я стать не просто похожим на других, а сильнее, мужественнее, умнее, чем другие.

Я всегда с презрением относился к первым ученикам

с их идеально-белыми воротничками на халатах и идеально-чистыми промокашками в тетрадках. Может быть, оттого, что у меня самого тетрадки вечно были усажены кляксами, а может, просто в силу своей несобранной и неорганизованной натуры, я недолюбливал этих чистюль. Но в Томске, среди дыкиных и Шлыковых, едва перебивающихся с двойки на тройки, вдруг стал лезть из шкуры вон, чтобы появилась моя фамилия на доске "Лучшие из лучших".

Конечно, они могли называть меня жидом и превратить себе на потеху в немца, но, когда в класс входил наш учитель физики Багай и начинал у одного за другим спрашивать второй закон Ньютона, наступал мой час. Посрамленные за свое невежество, они обычно хватили колы и с завистью глазели на меня, когда Багай, переспросив всех, ударял огромной ладонью по столу и восклицал: "А ну, Перельман?" И, услышав именно тот ответ, которого ждал, ставил мне пятерку.

В декабре сорок третьего года одним из первых в школе я вступил в комсомол. Наша комсомольская организация насчитывала всего четыре человека. Были в ней кроме меня Олег Левин, сын того Левина, которого на моих глазах шпарили кипятком Астахов и компания, Борис Татарка, маленький, большеголовый пузан, тоже с "Шарика", прочно завоевавший звание первого ученика в классе, и наша старшая пионервожатая, она же учительница истории, Антонина Ивановна Товстоног. В Антонину Ивановну — ей было всего двадцать два года, в школе ее звали просто Тоней — я был тайно влюблен. Мне казалось, что и она, всегда улыбающаяся мне своими голубыми, искрящимися глазами, отвечала взаимностью.

И это тоже вселяло в меня гордость. Ведь не полюбила же она однорукого военрука Терещенко, хотя он на каждом шагу оказывал ей знаки внимания, а полюбила меня, черного, сутулого и вечно взъерошенного, как вороненок.

Разумеется, я не мог пойти с Тоней в кино или те-

атр, как Терещенко, но я был на седьмом небе, когда она выдвинула мою кандидатуру в секретари комсомольской организации.

В школе, где, кроме Левина, я был единственный еврей, мне доверили стать комсомольским вожаком.

С первых же дней я развил бурную деятельность, создал художественную агитбригаду в составе Тони, меня и Левина. В зимние каникулы бригада выехала на станцию Тайга, чтобы выступить в одном из самых крупных в Сибири госпиталей. Левин читал какой-то очень смешной рассказ Зоценко, а я — стихотворение Симонова "Убей его". Я вышел на сцену необыкновенно гордый своей миссией комсомольского секретаря и руководителя агитбригады. Мой голос звенел на весь зал: "Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты, в люльке качаясь, плыл..."

Мне казалось, что, слушая меня, зал замер. Не знаю, как это выглядело со стороны, но в жизни я еще не испытывал такого волнения, как в тот вечер. Дали бы в руки винтовку и, не раздумывая, сам бы прямо с этой сцены пошел на фронт убивать немцев.

Я снова утверждал себя, но уже не так, как там, в кедраче, рядом с Резниковым и его заводскими друзьями. Я утверждал себя как личность, на которую Родина в свой трудный час возложила очень ответственное дело — выступить перед ранеными в госпитале.

Каково же было мое огорчение, когда в прочитанном со сцены списке участников концерта, награжденных почетной грамотой, где был даже Левин с его зоценковской юмореской, я не услышал своей фамилии. Почему обо мне забыли? Кто-то из организаторов концерта сказал Тоне, что я уж очень пыжился и перестарался.

Вполне вероятно, что со стороны картина и впрямь выглядела нелепой. Стоит на подмостках нескладный со встрепанными полосами отрок и, грозно насупив брови, призывает раненых нещадно убивать немцев. А возможно, с точки зрения организаторов вечера, этот суту-

лый, чернявый отрок не так хорошо прочитал. Ну а то, что творилось у него на душе, когда звал он убивать врага, — это вряд ли кого могло занимать.

Шел сорок четвертый год, и в этом госпитале на станции Тайга, куда везли и везли раненых, были дела поважнее.

Позже, за давностью лет, история эта вообще стала забываться. Мало ли было случаев, когда я не находил своей фамилии в списках, где, по всем правилам справедливости, ей полагалось быть.

ВЕСНА В БЫКОВЕ

Летом 1944 года мы с матерью вернулись в Москву, и я снова стал ходить в 170-ю школу в Петровском переулке. В мае сорок пятого кончилась война, а в июле мне исполнилось шестнадцать лет.

Время писать о прекраснейшей поре жизни, но вот вопрос: какими на нее глядеть глазами? Слишком велика амплитуда колебаний между моими тогдашними и сегодняшними оценками, да и какими словами говорить о жизни, в которую некогда был влюблен со всей пылкостью души и на которую сегодня, как это ни странно, вынужден поставить крест.

Павлов подразделял людей на "мыслителей" и "художников". Мне кажется, моя собственная личность — лучшее доказательство условности этого деления. Было время, когда я мог жить мечтой, и душа, как у юного Жана Кристофа, способна была ослепить разум. Но шли годы, и под натиском другой уже жизни, той самой, о которой пишу эту книгу, художник стал сдавать позиции безжалостному рационалисту. Бессмыслен вопрос, кому отдать предпочтение. Не научившись мечтать, человек не способен научиться думать.

Несколько лет назад отец, уже будучи старым и тяжело больным человеком, продал нашу быковскую дачу. Перешла она к ловкому и небезденежному хозяйственнику, который по-своему распорядился домом и на-

шим чудесным запущенным участком. Ситуация почти та же, что и в чеховском "Вишневом саде", да только я, в отличие от чеховских героев, не испытывал ни малейшей грусти, расставаясь с Быковым. Слишком много изменилось с того первого послевоенного лета сорок пятого года, когда, вернувшись из эвакуации, я снова очутился на своей даче.

Что именно изменилось, вот так просто и не скажешь. Был я в гостях у давних быковских приятелей, шел по голым, облысевшим просекам, где не осталось и кустика малины — одни сорняки да плелел вдоль дорожных обочин. Без конца меня обгоняли машины, обдавая клубами пыли. За оградями гремели транзисторы, и от царящей вокруг суеты веяло не чарующими прелестями Подмосковья, а лишь усталой пресыщенностью. И было бесконечно грустно оттого, что никогда уже в мою жизнь не вернется то первое послевоенное лето. Нынче плелел да пресыщенность, а тогда хлебные карточки и голод. Голод не только по хлебу — по жизни, которая столь надолго была прервана войной.

Первый, кого я увидел, был довоенный мой приятель Борька Бурмистров. Мыкался он, как и я, с матерью в эвакуации — точно не помню где: то ли на Урале, то ли в Ташкенте — и, как и я, по-видимому, почувствовал — все мы тогда почувствовали! — что жизнь не такая уж плохая штука. Кроме голода, ненависти и грязи было в ней кое-что, ради чего стоило жить.

Мне казалось, что даже природа в ту весну просыпалась с каким-то особенным благоуханием, как и полагалось ей проснуться после долгой и тягостной спячки войны. Мы мчались на велосипедах по просекам и невольно прислушивались к редким голосам людей, доносившимся из-за оград. Однажды на углу Вялковской и Комсомольской услышали патефон. Звуки доносились из маленькой шестигранной беседки, обвитой зеленым плющом.

Мы поставили у забора велосипеда. Бурмистров улыбнулся и выразительно вскинул вверх указательный

палец: мол, что бы это могло значить. Мы припали лбами к штакетнику и, набравшись храбрости, отворили калитку.

Через минуту очутились в беседке. Под ритмы модной в то лето песенки английского солдата "Прощай, и друга не забудь..." две девочки в туфельках на высоких каблуках танцевали фокстрот. Мне казалось, что до войны я видел их и даже играли мы на Вялковской улице в штандр. Затем появились их подружки. Одну я знал наверняка и даже помнил имя — Рита. У нее были крупные губы и дивные бархатные глаза. "Еврейка!" — подумал я про себя. Девочки стали учить нас с Бурмистровым танцевать. Рита, нежно взяв меня за руки, вела за собой, а я, напыжившись, точно выполнял титаническую работу, бездарно шаркал по дощатому полу башмаками и улыбался все той же счастливой улыбкой.

В то лето знакомились молниеносно. Даже в воздухе было нечто такое, что как магнитом притягивало нас друг к другу, мальчиков и девочек, повзрослевших за годы войны. Танцуя, мы стеснялись приблизиться друг к другу, в чем-то мы были страшно несовременны, но в чем-то отчаянно смелы. Правда, за эту смелость иным пришлось дорого заплатить, но это произошло позже, когда среди первых послевоенных всходов появилась полынь да плелел.

Сейчас уже не припомнить, как я попал на дачу Крыловых, очутившись в компании двух очаровательных сестричек Эли и Нели, с которыми стал приятелем на многие годы. И сейчас перед глазами их уютная зеленая дачка с застекленной верандой, с гостеприимной и всегда улыбающейся нам мамой и двумя синеглазыми девочками-близнецами, настолько одинаковыми, что я долго не мог научиться различать, которая из них Неля, а которая Эля.

Обе излучали нежность и обаяние, у обеих были пышные золотые волосы и даже грассировали одинаково — не то чтобы не выговаривали букву "р", а произносили ее мягко, с какой-то особой нежностью.

Я пишу о них столь восторженно, ничуть не боясь отступить от правды. Хочу представить их такими, какими видел, передать ту обстановку немного обожания, которая царила в те летние вечера на участке Крыловых. И тех, кто сюда приходил, я тоже великолепно помню — и по именам, и по фамилиям. Настолько сильным было потрясение, связанное с этой дачей, что ничего невозможно упустить.

Эля и Неля — наши обожаемые лауры — с газовыми шальками на плечах сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из сказок), а у их ног расположились их верные рыцари Жарков и Сендах и читали стихи.

Трудно было представить более разных людей. Жарков — большеголовый, светлолицый русак, настолько живой и веселый, что пребывать в спокойствии для него вообще было невозможно.

Его дамой сердца была Неля. Он сидел обычно у ее ног, обняв собственные колени, и, раскачивая старинную качалку, читал Маяковского и Асеева. Иногда вдруг запевал какие-то невероятные частушки. И без конца смеялся, вскинув вверх голову. Смех у Жаркова был неподражаемый. Он взрывался, падая на спину, и, раскачиваясь как ванька-встанька, хохотал весь — грудью, животом и даже подскакивающими вверх ногами.

Сендах, кажется, вообще не умел смеяться. У него были выющиеся волосы и большие, с мрачным блеском глаза. Он читал лежа на спине, подложив под голову тонкие волосатые руки и уставившись в вечернее быковское небо. Читал он свои стихи, Пастернака, Ахматову...

Я помню его горящие, устремленные к небу глаза и его мрачный торжественный голос: "Все расхищено, предано, продано, все голодной тоской изголодано..."

Дамой его сердца тоже была Неля. Когда он кончал читать, она восторженно хлопала в ладоши, а он приподнимался и целовал ей руку. Мне казалось, что Сендах недолюбливает Жаркова, а Неля любила их обоих, правда, за разное. Она говорила:

— Жаркова люблю за смех, а Сендаху — за стихи.

Был еще в этой компании Алик Генкин. Как и я, он был представителем младшего поколения салона. И, наверное, поэтому мы не подпускались к качалкам королев. Мы сидели обычно в стороне и слушали, о чем вещали рыцари. Впрочем, Генкину иногда все-таки предоставлялось слово. Генкин был прирожденный математик. Когда он говорил, то, как Сократ, прикладывал палец к виску и непрестанно ссылаясь на Декарта и Эйнштейна.

Речь его была обычно очень заумна, особенно когда он обрушивался в своих гневных филиппиках против рифм и размеров, утверждая, что ямб и хорей с точки зрения математической логики — это нонсенс и он не желает тратить время на доказательство этого очевидного положения и вообще завтрашний день принадлежит математикам, способным оперировать не побрякушками слов, а возведенными в абсолют абстракциями.

Предметом поклонения Генкина была Эля. Во время его "откровений" она непонимающе хлопала глазами. Зато Сендах, не отрывая от земли головы, без тени улыбки на лице говорил:

— Так их чистоплюев, так их!

Неля, напротив, вдруг начинала защищать Генкина. Она говорила, что его точка зрения тоже имеет право на жизнь. Но всех прерывал Жарков. Своим тонким тенорком он вдруг запевал: "Кабы были все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от Расеи..."

Иногда к Крыловым заходил друг Генкина Летинский — огромный, коротко остриженный великан с большим лбом и большими навывкате глазами. Летинский учился в студии Еврейского театра и где-то еще подрабатывал. Позже, когда студию закрыли, целыми днями пропадал без копейки в кармане у Генкина на даче. В гостях у Крыловых почти всегда молчал, но однажды под общим нажимом прочел что-то Шолома-Алейхема и

с тех пор уже довольно часто выступал со своим репертуаром.

В этой компании я был моложе всех, и по обыкновению, помалкивал. Я просто-напросто терялся в таком окружении и, хотя мне было страшно досадно, что рядом с этими прекрасными людьми выгляжу таким темным и неотесанным, меня охватывало в те летние вечера чувство безотчетной радости.

Конечно, в жизни мне не очень повезло — за мое еврейство меня унижали, пинали из стороны в сторону, едва не превратили в нациста, но теперь этому, слава богу, конец.

Я лежал, растянувшись на траве, и слушал Сендаха. Где-то на заборе мяукал крыловский котенок. На небе горела Большая Медведица. И мне казалось, что я открываю для себя новую жизнь, рядом с которой ничтожным и диким было все, чем я жил в Томске. Это ничтожное и дикое никогда не вернется снова, и в моей будущей жизни, прекрасной и светлой, как эта ночь, не будет бомбежек, не будет ненависти и унижений, не будет русских и жидов, а будет такая любовь между всеми, какая царила между людьми на даче сестричек Крыловых.

Мог ли я предвидеть, что, спустя несколько лет, именно на этой поэтической даче, именно в этой прекрасной компании разорвется такой силы "фугаска", которая заставит меня другими глазами взглянуть на многое, о чем я думал в эти летние вечера.

Но повторяю, это произойдет позже, когда в России уже не будет таких весен, какую пережил я в мае 45 года, и сама Россия не будет уже такой гордой и счастливой, какой вышла из войны, да и наше выросшее из войны поколение, последнее поколение романтиков, кое в чем уже утратит невинность мнения.

ЗАВЕРЯЕМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА..

Возраст измеряется годами. Зрелость — пережитыми событиями, но в общем все зависит от человека. Сколь-

ко страданий выпало на долю сталинских узников, но среди реабилитированных я встречал глубоких стариков с инфантильным сознанием шестнадцатилетних. Возвращаясь после долгих лет каторги, они писали в газеты благодарные письма за то, что им была предоставлена возможность прожить такую прекрасную жизнь. В газетах их называли вечно молодыми борцами за коммунизм.

Мне не пришлось изведать тюрьмы, но в 1947 году я уже во многом был не тот, что в 45-м, а в 52-м — не тот, что в 47-м. В жизни у меня была лакмусовая бумажка, помогавшая мне лучше узнавать и себя, и других. Таким индикатором становились мои старые знакомые — одни и те же люди, но встреченные в разные годы жизни.

Я стоял со своим бывшим однокашником или сослуживцем на улице, и, глядя на его изменившееся лицо, задавал себе тривиальнейший вопрос: а насколько изменился и постарел я сам? Но в нарушение всякой логики получал ответ из совершенно другой области, каким он и я были в юности.

Кто знает, возможно, во время таких встреч как раз и замыкались в моих полушариях клеммы между первой и второй сигнальными системами и "мыслитель" своим рациональным умом переоценивал ценности, добытые эмоциями "художника".

Кручу ленту памяти и сетую, что временами стопорится она. Мелькают одни и те же лица и события. Но нет, просто мозг, как опытный рентгенолог, делает на ленте не один, а два, три и более снимков, чтобы, совместив их, помочь мне лучше понять прошлое.

Однажды шли мы с приятелем мимо здания Министерства иностранных дел, и в ту минуту, когда поравнялись с главным подъездом, возле него остановилась черная "Волга". Из нее не спеша вышел высокий, хорошо сложенный человек в дипломатической форме (годы едва тронули его атлетическую фигуру). Я узнал своего однокашника по 170-й школе Игоря Паленьха.

Кивнул ему, но он, погруженный в дела службы, не заметил меня. В связи с чем приятель не упустил случая сострить: "Имеет инструкцию с иностранцами не здороваться".

Я уже не первый раз встречаю Паленыха. Жизнь словно специально подчеркивает, как разошлись наши пути-дороги после окончания школы. Последний раз мы, правда, виделись давно, в году 52-м или 53-м. В то время я уже окончил институт, но, не получив работы, с невероятным трудом устроился бухгалтером-ревизором в областном управлении полиграфии.

В мои обязанности входило ездить по области и проверять, не допускают ли районные газеты отклонений в расходовании средств, отпускаемых областью. Так вот, вернувшись однажды чертовски усталым из района, я встретил Паленыха у ворот Сандуновских бань. Он выходил из бань высшего разряда и страшно обрадовался, увидев меня:

— Откуда, старина, да еще в таком затрапезном виде?

— Из Уваровки, — ответил я, — не приходилось бывать?

— Честно, не приходилось, — добродушно улыбался Паленых. — Я, между прочим, тоже только с дороги. Два месяца торчал в Лиссабоне, надоело зверски. Пойду-ка, думаю, в русскую баньку, попарюсь с веничком...

Он говорил обычные вещи, был очень доброжелателен, но я почувствовал, какая между нами пропасть. И оттого что это был наш Игорь Паленых, почти член нашего ОРСа, — пропасть казалась еще больше.

Мы условились встретиться всем ОРСом в ближайшие дни, но, когда через неделю я позвонил Паленыху, приятный женский голос сообщил, что Игорь утром улетел в Рим. Встреча с Паленыхом все же свою роль сыграла. В тот же день я обзвонил членов ОРСа, и в воскресенье четвером — я, Натансон, Леви и Мара — сидели в кафе "Националь" и, вспоминая минувшее, мечтали о будущем. Все они были тогда выпускниками МВТУ и со дня на день ждали распределения.

Кажется, мы тогда поклялись видеться чаще, единодушно признав, что это чистой воды свинство — жить по соседству и годами не встречаться. Но клятвы так и остались клятвами, а жизнь разметала всех в разные стороны. И вот теперь, когда я увидел у входа в Министерство иностранных дел Паленыха, то решил снова, как 20 лет назад, обзвонить членов ОРСа. Все оказались в Москве, живы-здоровы, но услышал я в трубке голоса усталых, обремененных жизнью людей: да, хорошо бы, конечно, свидеться, но когда? У Мары второй месяц хворает жена. Леви на днях должен отправлять ребенка в лагерь. Бездетный Натансон — единственный, с кем время от времени я встречался, — и тот слег с холециститом и собирался в Эссендуки.

Я положил трубку и вспомнил почему-то прогнозы нашей литераторши Лидии Герасимовны на выпускном школьном вечере. Она подняла тост за будущее ОРСа, впервые назвав нас нашей классной кличкой. Она предрекала нам блистательное будущее. У нее была мания — всегда говорить полунамеками, и оттого, что она несчетное число раз вспомнила Эйнштейна и Нильса Бора, нетрудно было догадаться, каким станет наше завтра. Да и мы сами верили в наше завтра. И уж конечно не думали, что наступит время, когда не то что места под солнцем — не найдем даже вечера, чтобы собраться и выпить по рюмке коньяку.

Итак, нас было четверо. Марк Шамран, которого для удобства пользования и с легкой руки Натансона звали просто Марой. Лева Эткин, которого неизвестно почему с первого же дня звали Леви. Затем были Натансон и я, которых никак не звали. И был еще спортивный, с отличной осанкой и множеством красных угрей на лице Паленых.

Папа Паленыха занимал пост заместителя председателя Моссовета, а сам он явно симпатизировал нашей компании. Его можно было бы даже назвать нашим попутчиком, если бы нас связывала хоть какая-то про-

грамма. Но никакой программы не было, а была лишь сразу приставшая к нам классная кличка ОПС.

Эту кличку мы придумали себе сами. Кто-то, кажется. Мара, во время сбора металлолома или какого-то другого мероприятия, какие в то время устраивали постоянно, умудрился от этого мероприятия увильнуть и при этом победно воскликнул:

— Я в ОПСе, а вы!

Так пошло с того дня по классу: "Я — в ОПСе, а вы!" Странно, что от подобной нелепицы мог приклеиться к нам этот "ОПС" на многие годы.

Правда, тот же Мара, когда мы сидели в "Национале", пытался подвести под нее идеологическую основу. Изрядно выпив, он вдруг вздумал устроить анкетный опрос присутствующих:

— Ваше как фамилие? Перельман, а ваше — Натансон, а ваше — Леви, если не ошибаюсь, Эткин. А я, если позволите, Шамран. Вот и получается, что мы все в ОПСе. Паленых в Риме, а инженера Шамрана в Челябинскую область посылают...

Экстраполяция была явно неправомерной — событиями 53 года неверно было объяснять происходившее в 45-м.

Когда в сентябре 44 года я очутился в восьмом классе "Б" 170-й школы, то на время вообще забыл, что я еврей, а если вспоминал, то, скорее, с затаенной гордостью.

К ОПСу в классе относились в высшей степени уважительно. Если он что-то решал, то это же решали все, если он создавал о ком-то мнение, то оно становилось мнением всех. Это было негласное и добровольно признаваемое лидерство, которое могло по десять раз на день высучиваться, но даже в самых едких шутках по поводу непревзойденного умения ОПСа везде и всегда устроиться не было и грана антисемитизма. Все это Натансон и пытался втолковать пьяному Маре, но тот упорно гнул свое:

— Ваше имя и отчество как — Виктор Иванович На-

тансон? Вы, кажется, русский? И вы, Лев Борисович, русский, у вас мама русская — и вообще все мы очень разные люди...

Произнося эту речь за ресторанным столиком, Шамран, разумеется, не мог предполагать, что буквально через несколько дней "русский" Натансон и "русский" Эткин получат такое назначение, после которого, вероятно, уже до конца жизни не смогут подняться на ноги. Но в одном Мара был безусловно прав — мы были, действительно, очень разные люди.

Витя Натансон за полгода до прихода в 170-ю школу вернулся из Соединенных Штатов Америки, где его мама работала в советском павильоне на Международной выставке в Нью-Йорке. Среди нас он был воплощением деловитости. Все, о чем бы ни заходила речь, пропускал сквозь призму здравого смысла, играл в теннис и говорил сухим надтреснутым голосом. В биографии его одно белое пятно. Натансон была фамилия его матери, и, когда его спрашивали об отце, он обычно сердито отрезал:

— Отца нет и прошу вопросы на эту тему не задавать.

Леви был педант, математик и редкий аккуратист. Василий Васильевич (в просторечии "Васька"), наш математик, называл его Левушка и прочил ему будущее Ландау.

Шамран был завзятый театрал, лучше всех танцевал. Единственный из класса дружил с девушкой по имени Юля из соседней 635-й школы. Шамран обожал своего престарелого папу-корректора и вообще был не в меру сентиментален, за что его сосед по парте Натансон и заклеил не вполне мужским именем Мара.

Все это, однако, не мешало ОПСу дружить и в полном составе ходить на занятия кружка бальных танцев. Танцевали па-де-патинер, па-де-грас, тарантеллу, мазурку, а в конце занятий, как бы на десерт, — фокстрот и танго. Вел кружок шестидесятилетний и прямой как струнка балетмейстер Шиттик, который добился у директора разрешения девочкам и мальчикам заниматься вместе.

что сообщало занятиям определенный ритуал и очарование.

Начинались они обычно в восемь, но ОРС встречался в половине восьмого. За мной заходил Натансон, живший в Козицком переулке. Одет он был в отличный английский костюм. И не успевали мы выйти из дому, как он извлекал из кармана брюк пачку "Северной Пальмиры". За ней он еще днем специально заходил на Центральный рынок (в киосках такие папиросы достать было невозможно). И, почувствовав себя уже настоящими мужчинами, мы закуривали.

Леви и Мара обычно ждали нас на углу Петровского переулка. Леви — в шляпе, Мара — вообще без головного убора, откинув назад свои пышные волнистые волосы, и оба в предвкушении приятного вечера с красивыми и таинственными девочками из 635-й школы.

Натансон танцевал с серьезнейшим выражением лица, боком и слегка приподняв одно плечо — словно линкор, рассекающий волны. Мара был король танца. Он шел легко, чуть откинув свою пышноволосую голову, и, встречаясь с Натансоном, не упускал случая сострить:

— Витя, пифагоровы штаны во все стороны равны.

Все это происходило при дамах, и Натансон бросал на Шамрана зверский взгляд:

— Цыц, Мара!

Шиттик кричал:

— Стоп! — и сердито хлопал в ладоши: — Друзья, что за переговоры в танце! Танцы — это занятие королей, а не петухов...

И снова хлопок:

— Раз, два, три, раз, два, три...

И занятия продолжались. И мы, важные, как тамбовские гусаки, шествовали за Шиттиком по залу, держа своих дам за кончики пальцев, и в гусарских ритмах мазурки весело прыгали на зеркальном школьном паркете и учились делать паблеансе, которые Шиттик называл альфой и омегой современного танца. О, это были незабываемые мгновения! О них может вспоминать, но их не

способен пережить вновь сорокашестилетний человек.

Мы встречались взглядами с нашими, такими же, как мы, возбужденными королевами и открывали для себя новые стороны жизни, которых нас безжалостно лишила война.

Если нашим "официальным" попутчиком был Игорь Паленых, то была у нас и подпольная еврейская тень — троюродный брат Леви по папиной линии Зяма, известный в ОРСе по довольно странному прозвищу "Малый".

Паленых жил по соседству с Натансоном на улице Горького. Он боготворил Натансона, провожал его до дому после школы и, как оруженосец, ни на шаг не отходил от него на школьных вечерах. Паленых был хорошим общительным парнем, но, имея папу заместителя председателя Моссовета, он плохо вписывался в нашу орсовскую компанию.

С "Малым" нас свела его богатейшая коллекция пластинок Лещенко и Вертинского, неизвестно когда и где приобретенная его папой, коммерческим директором какой-то трикотажной артели. Сам "Малый" появился в ОРСе неожиданно, когда мы уже учились в девятом классе. Был он наших лет, но из-за войны отстал. Когда мы перешли в девятый, он все еще сидел в седьмом классе.

Говорил он с сильным еврейским акцентом, картавил, не выговаривая ни "р", ни "л", был некрасив, пучеглаз, с огромным, как паяльник, носом, за который его и окрестили "Малый с паяльником".

В ОРСе паяльник для удобства пользования решили опустить и звали его просто "Малый".

Была у "Малого" слабость — к месту и не к месту поднимать еврейский вопрос. Он никогда не упускал случая заявить, что он стопроцентный "ид" и их, то есть "гоим", презирает всей душой. В ОРСе еврейский вопрос как таковой не дебатировался. На Зямыны разглагольствования смотрели как на местечковые штучки, и, если он позволял себе заходить слишком далеко, Натан-

сон зло обрывал его: "Малый, заткнись, в морду получишь!"

Вообще жизнь ОРСа была полна парадоксов. В субботний или воскресный вечер странно было видеть Натансона расхаживающим по захлавленной Зяминой комнате в Столешниковом переулке и энергично насвистывающим в такт бешено играющей лещенковской пластинке: "Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душечка..." Следом за Лещенко заводил свою пластинку "Малый".

— Такой певец и в Хумынии вынужден пхозябать. Очень он им нужен гоим, он нам, идн, нужен, это да!

Затем распахивалось настезь окно, чтобы концерт слышал весь Столешников.

— Ох, "Малый", не умрешь ты своей смертью,— первый не выдерживал Леви.

— Не умху? Это еще посмотрим, кто не умхет, а кто умхет. Что они мне сделают? Посадят? Хохошо, пусть сажают...

—Цыц, идиот! — рычал Натансон. — Дай послушать!

"Малый" смолкал, но вскоре начинал опять. Настоящий отпор его сионистским вылазкам был дан мамой Натансона, старой партийкой и ответственным работником СОВМИНа.

По какой-то причине музыкальный вечер устраивали на этот раз не у "Малого", а у Натансона, в Козицком переулке. "Малый", как всегда, расфилософствовался, и до слуха Елизаветы Михайловны Натансон донесли его откровения по еврейскому вопросу. Елизавета Михайловна уже давно не одобряла ни наших музыкальных пристрастий, ни дружбы ее сына с "Малым". И теперь, когда услышала из своей комнаты его рассуждения по еврейскому вопросу, чаша ее терпения переполнилась.

"Малого" она тогда напугала страшно. Я и сейчас не могу без улыбки вспомнить эту сцену. Стоит маленькая и пунцовая от возмущения мама Натансона и, раз-

махивая указательным пальцем перед Зяминым паяльником, взывает к его гражданской совести:

— Как вам, Зяма, не стыдно? Что значит "мы" и "они". Я — сама еврейка по национальности, но горжусь, что выросла среди великого русского народа.

— Я тоже, между пхочим, гохжусь, почему нет, — миролюбиво пожимал плечами "Малый", — но я же имею право любить свой евхейский наход.

— Бросьте, — уже побагровев от гнева, продолжала мама Натансона. — Пока есть партия и советская власть, еврейский народ ни в чьей защите не нуждается, завтра же позвоню вашему отцу и выясню, откуда у вас эти настроения.

Прошло 27 лет, а кажется, что это все было в прошлом веке. Давно я потерял из виду "Малого", но, как ни странно, время от времени вижусь с мамой Вити Натансона. Когда я захожу к нему, то нет-нет, да и переброшусь парой слов с семидесятипятилетней Елизаветой Михайловной. Она персональная пенсионерка, но, как пишут о таких в газетах, все еще сохраняет бодрость духа и живой интерес к жизни. Подле нее часто можно увидеть плечистого седого бодрячка — это Иван Арсеньевич, отец Натансона, объявившийся на горизонте после двадцати лет заключения.

Амнистированный и восстановленный во всех правах, он не отказывает себе в удовольствии выпить чашку чая с предметом своей юношеской любви, а она — принять у себя дома человека, которого более тридцати лет не желала знать, и даже в знак этого нежелания новорожденного сына своего назвала не Виктор Иванович, а Виктор Елизаветич.

Меня Елизавета Михайловна всякий раз, когда встречает, забрасывает вопросами, что слышно на белом свете. Начинает обычно с главного:

— Ну, Виктор, как там дела с нашим братом? Прижимают? Не знаю, что бы сказал Владимир Ильич, если бы вышел из Мавзолея...

Признаться, я и сам не возьму в толк, что бы сказал

Владимир Ильич, зато представляю, как бы торжествовал "Малый", если бы хоть краем уха услышал разговор мамы Натансона.

Время — удивительнейшая штука. Старого, умудренного жизнью Человека оно способно представить наивным и неумным простачком, а безусого, дурашливого юнца едва ли не мудрецом, глядящим сквозь десятилетия. Впрочем, возможно, дело и не во времени, а в нашей жизни. Она заставляет людей переживать такие метаморфозы, в которые они сами, отжив свой век, не в состоянии поверить.

Как далека была от меня философия "Малого"! Конечно, в детстве я изрядно настрадался от своего еврейства, но причем же тут рассуждения о "гоим" и "идн" и почему я должен говорить, что я "ид", и ненавидеть русских, если вся моя жизнь связана с Россией?

Год назад кончилась война, в которой моя страна одержала величайшую победу. В памяти неувядаемо жил день Победы с ликующими людьми и тысячекратными салютами. Ну а то, что в этот день Сталин пил за великий русский народ, то, очевидно, так и нужно. Ведь это действительно великий народ. Русских в стране больше ста миллионов, а евреев сколько? Я не знал, сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и уничижительной кажется мне сегодня эта философия. Но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда, в транскрипции 45 года, принесшего России не только сладость победы, но и горькие запахи шовинистического угара. Чем он обернется для евреев, я еще буду писать. Пока лишь хочу засвидетельствовать, что в те послевоенные годы мы, то есть я, Натансон, Шамран, Лейба, тысячи таких, как мы, верили в свое будущее и связывали свою веру с Россией.

В десятом классе я писал сочинение на вольную тему: "Мой друг, отчизне посвятим..." Эту же тему из-

брал почти весь ОРС. Исключением был лишь педант Леви. Его характер, признающий лишь точные измерения, сказался и здесь. Он предпочел "Художественные особенности драматургии Горького".

Вскоре было объявлено, что лучшие сочинения в районе написал ОРС, а лучшее из лучших — наш орсовский романтик и донжуан Мара Шамран. Всего в нашем 10 "Б" было 17 пятерок, и почти все за сочинения на вольную тему.

Наша преподавательница Лидия Герасимовна Бронштейн чувствовала себя именинницей.

Всего второй год, как в школах ввели экзамены на аттестат зрелости. Лучшим вручали золотые и серебряные медали, дающие право поступать в институт без экзаменов, а на пути к медали, как непреступная скала, стояла пятерка по сочинению. И когда впервые в 8 "Б" появилась сухонькая женоподобная личность с красными воспаленными глазами и объявила, что будет у нас вести русскую литературу, то наши крикливые "моллюски", два классных недоростка Орлов и Матузович, не выдержали и квакнули в воздух: "Иди ты!"

Не знали "моллюски", да и никто из нас не думал, что эта малорослая и похожая на непричесанного подростка Лидия Герасимовна станет властительницей наших дум. Не такой, конечно, как Державин в Царскосельском лицее, но человеком среди нас очень влиятельным, ибо от нее, от ее благословенной пятерки, будут зависеть наши медали, открывающие дорогу в любой ВУЗ. Нет, она была не Державиным, а, скорее, нашим Жозефом Фуше. Фуше в юбке, она поддерживала отношения едва ли не с каждым из преподавателей, корректируя при надобности их оценки и воздействуя на них в случае необходимости через директора школы Панаско. Она интриговала и вступала в "беспринципные компромиссы" с математиком Василием Васильевичем и историком Сергеем Михайловичем. Тайными нитями была связана с руководителями

РОНО*, от которых в канун экзаменов на аттестат зрелости пыталась выудить — и выудила-таки! — хранившиеся в страшной тайне темы сочинений. Она была до ужаса косноязычна, но необыкновенно целеустремленна. В 10 классе без конца устраивала контрольные сочинения, не зная устали натаскивала нас, отдавая все свои симпатии ОРСу.

В класс Лидия Герасимовна входила молча, держа под мышкой стопку наших тетрадей и загадочно улыбаясь:

— Натансон, от вас я ждала большего. Всегда столько мыслей, а сегодня? Тему развить не сумели, просто странно... Вот Шамран, приятно читать. Молодец, Шамран, очень хорошо! Если бы Шамран на аттестат так написал...

— Так что же вы мне поставили, Лидия Герасимовна? — не выдерживал Мара.

— Что поставила? Четверку с минусом. И то, между нами говоря, завысила. Как вам нравится, он не знает, как слово "объездчик" пишется. Стыд! Позор!

Снова молчание, и снова загадочная улыбка.

— А у Эткина? У Эткина не скажу что. Написано грамотно, толково, план хороший. Эткиным, кстати, и Василий Васильевич доволен. Между нами говоря, директор мне вчера прямо сказал: Эткин с Натансоном на медали идут. А вы, Перельман, троечку по алгебре схватили, молодец, нечего сказать!

По-своему готовился к экзаменам на аттестат и наш Васька. Он был полной противоположностью Лидии Герасимовны. Длинный, тощий, прыгающий в свои семьдесят два года через три ступеньки. Он экспансивно влетал в класс и начинал:

— Ну-с, милорды, на чем мы остановились в прошлый раз?

*Районный отдел народного образования.

В отличие от литераторши, у него все было окружено ореолом тайны, и даже отметки он ставил не в журнал, а в кондуит. Он носил его во внутреннем кармане пиджака и для большей конспирации обозначал отметки по-английски: файф, фор, фри, ту...

В ОРСе он более всех любил Леви, звал его Левушкой и каждый раз ставил ему "файф".

Были среди милордов и такие, которые неизменно получали у Васьки колы. Лидировал среди них наш классный актер Серж Апостолов. Он был страшный позер, и когда Васька вызывал его к доске, то выходил он, откинув назад свою кудрявую лысеющую голову и кокетливо двигая узкими плечами. У доски, играя мелом, нес такую ахинею, что Васька довольно скоро не выдерживал и, выхватив из кармана кондуит, восклицал:

— О владыка живота моего, нельзя же быть такой бестолочью.

С той же гордо поднятой головой Серж возвращался на место. На перемене он говорил, что математика — не его амплуа, он создан для театра и искусства. Особенно не любил Апостолова историк Сергей Михайлович. Серж был не только позер и пустомеля, но и непревзойденный в классе лентяй. И старый прожженный циник Сергей Михайлович видел его насквозь. Вызывая Сержа к доске, он начинал не с урока, а с хронологии.

— Скажи мне, Апостолов, когда была Куликовская битва?

— По-моему, в 1483 году...

— "По-моему" не годится, история — точнее математики. Битва под Калкой?

— Точно не помню...

— Перечисли десять сталинских ударов.

— Сталин разработал...

— У товарища Сталина есть имя и отчество.

— Как правильно говорит Иуриф Виссарионович Сталин...

— Товарищ Сталин всегда правильно говорит и в твоих комплиментах не нуждается.

— Ну, тогда уж не знаю.

— Вот и я вижу, что не знаешь, садись, два!

Кроме Сержа, зубрили все. Когда начались экзамены, я, как и весь ОРС, перешел на осадное положение и по количеству кофе, выпитого в те дни, кажется, мог состязаться с Оноре де Бальзаком.

Помимо кофе употребляли еще феномин, чтобы после бессонных ночей сохранять ясность ума. Это было всеобщее подогреваемое самой школой сумасшествие. Не спали не только ученики, но и педагоги. И без того щупленькая — одни кости да кожа — Лидия Герасимовна от треволнений превратилась в тень, но своего все же добила — семнадцать ее пятерок обернулись семнадцатью медалями. В числе медалистов был весь наш ОРС.

После экзаменов я свалился с острым сердечным приступом, но был счастлив сознанием, что отныне держу в своих руках звездный билет.

В последние годы мне почему-то дважды снилась наша школа и учителя — Лидия Герасимовна, Васька, давно уже отошедшие в мир иной. Причем являлись они в самом неприглядном виде — беспринципными циниками, плутами, только и требующими свои фэйфы (почему-то все ставили отметки по-английски), но с юности не внушившими никому из нас ничего святого и прекрасного.

Однажды к нам в школу приехал сам Сталин. Обошел классы и в конце поднялся к нам в 10 "Б". Прищурил взгляд, он спросил:

— А что, в этом классе евреи есть?

И директор, пожирая вождя восторженными глазами, доложил:

— Никак нет, Иосиф Виссарионович, ни одного.

Но в эту самую минуту Сталин вдруг увидел за партой Лидию Герасимовну и, поманив ее пальцем, сказал:

— Я знаю, что в этом классе еще много евреев, но они

себя правильно ведут и поэтому отныне будут считаться русскими...

Сон, как и всякий сон, довольно глупый и причудливый, навел меня на мысль, которая, если и имеет, то очень косвенное отношение к моим воспоминаниям.

В 47 году в стране уже процветал великодержавный шовинизм. Многоопытные отцы и матери, подобно маме Натансон, предусмотрительно записывали своих детей русскими, а в Петровском переулке, в центре Москвы, стояла школа, где явочным порядком отменили национальности — и едва ли не всей ее жизнью негласно правила бескорыстная фанатичка Бронштейн. Среди выпускников лидировала не юная поросль великого русского народа, а четверка еврейских ребят с вызывающе еврейскими фамилиями, и к тому же присвоившая себе полуеврейскую кличку ОРС.

Лет пять спустя оказался я по случаю в Петровском переулке и решил заглянуть в родные пенаты. Хотя бы одно знакомое лицо — ни одного! В вестибюле висит доска с оттиснутыми на ней серебром фамилиями медалистов разных лет. Красуется на ней и ОРС в полном составе. Но чем дальше от 47 года, тем меньше еврейских фамилий, а в 52-м и вовсе одна только. Чудно это было видеть, как скудели на способных детей евреи, проживавшие в районе Петровского переулка.

Я спросил дежурившую в раздевалке техничку про Лидию Герасимовну. Она долго мучилась, никак не могла вспомнить, пока ее вдруг не осенило:

— Постой, постой, это такая евреечка настырная, все нечесаная ходила. Как же, уволили, их теперь всех увольняют, а эту и вовсе, стара стала.

На выпускном вечере Лидия Герасимовна произнесла прочувствованную речь — ту самую, в которой впервые назвала нас ОРСом и без конца вспоминала Эйнштейна и Бора. В заключение она сказала то, что обычно говорят в таких случаях, а именно, что с завтрашнего утра нас ждет другая, взрослая жизнь.

Она хотела добавить еще что-то, но потеряла нить и, достав из сумочки платок, вдруг стала тереть свои большие вороньи глаза. На том и кончила, не подозревая, насколько была точна, определив время, с которого взрослая жизнь взяла нас в оборот.

На утро после выпускного вечера ОРС в полном составе вызвали в райком комсомола и сказали, что нам, как самым талантливым, поручается ответственнейшее дело — подготовить обращение выпускников столицы к товарищу Сталину. Оно должно быть прочитано на общегородском собрании выпускников.

Нас инструктировала секретарь райкома, мощная полногрудая девица с хорошо поставленным звонким голосом. Она сказала:

— Письмо должно быть неподкупно искренним. Пишите о том, как хотите жить и кем себя видите в будущем. Вы кем хотите быть? — улыбнулась она Натансону.

— Ракетостроителем.

— А вы? — спросила она Леви.

— Тоже.

— А я, — не выдержал Мара, — тепловозником, в смысле конструктором тепловозов...

Текст мы подготовили за один вечер. Писали у меня. Не помню всего, что в нем было, но когда коснулись будущего, то именно так и написали, как советовала секретарь райкома: "Мы, завтрашние строители ракет и тепловозов, юристы и политические деятели" — добавил я. И за Сержа тоже написали: "... актеры и работники искусств" — добавил Мара. Все мы клялись великому вождю, что будем не покладая рук трудиться на благо Родины. Только в одном месте разгорелся спор. Я сказал, что надо коснуться дружбы народов и перечислить хотя бы основные национальности выпускников: русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, татары и т.д.

— Насчет евреев, контора — напрасный труд, — кисло протянул Натансон.

— Это почему же? — возмутился я.

— Почему? Потому что кончается на "у".

Но я все-таки настоял, чтобы евреев оставить, и, когда разошлись, еще два часа корпел над "Обращением". Дописал о партии, о нашей вере в комсомол и еще о чем-то в том же духе.

Текст в райком комсомола относил тоже я. И до последней минуты ждал оттуда звонка — ведь письмо кто-то должен читать. Шутка ли! — Сталин может услышать. И в зале Чайковского, где устраивали вечер, я первым делом разыскал нашего секретаря райкома и на всякий случай дважды попался ей на глаза. Она была страшно занята и на мое многозначительное "здравствуйте" едва кивнула головой.

Я понял, что в своих мечтаниях явно хватил лишку. Возможно, наше творение вообще выкинули в урну. Но когда открыли вечер, на сцену вышла пухленькая с кошой девушка и слово в слово прочитала наш текст. Впрочем, нет, одно слово заменили; вместо "евреев" вставили "татар".

— Татаро-монгольское иго! — дурашливо прыснул сидевший рядом Мара.

— Цыц! — гаркнул Натансон и в антракте, раскрыв передо мной "Северную пальмиру", неизвестно к чему сказал: — А в остальном все точно, заявка ОРСа удовлетворена на сто процентов!

Вскоре выяснилось, что натансоновский оптимизм оказался преждевременным. Несмотря на золотые медали, ни его, ни Леви на факультет ракетостроения не приняли. Не помогло даже то, что оба числились по паспорту русскими. Ну, а дальше? А дальше "будущие ракетостроители" Натансон и Эткин окончили МВТУ, и направили их работать механиками. Одного — в Каширскую, другого — в "царевкокшайскую МТС" (название я так и не запомнил). Конструктор тепловозов Шамран трубил пять лет в Челябинске — не то технологом, не то цеховым мастером. Ну а я, будущий Плевако, волей судьбы зацепился на бухгалтерской ниве. Впрочем, так неаккуратно обошлись не со всеми заявками. Наш клас-

сный актер Серж Апостолов все-таки закончил с грехом пополам ГИТИС или ВГИК. Затем работал в ЦК профсоюза работников искусств. И еще где-то, и еще. И нигде, говорят, не справлялся. Но, несмотря на это, его нигде не снимали, а лишь передвигали с одной должности на другую. Пока он не оказался в Отделе культуры ЦК КПСС, где и по сей день довольно успешно курирует столичные театры. Говорят, не без его участия закрыли театр Эфроса и едва не сняли с работы Любимова.

Поистине, вещими оказались слова Сержа, что он создан для театра и искусства. Но тогда, в зале Чайковского, никто не мог предвидеть такое развитие событий.

После того как кончилась торжественная часть, оркестр грянул "Дунайские волны". А я все еще стоял расстроенный, что эта басовитая девица с косой так беспардонно отобрала у меня мое авторство на обращение к товарищу Сталину. Стоял, кажется, недолго. Подошла знакомая из 635 школы и потащила меня танцевать. Гремел оркестр, кружились в вальсе, и вскоре я забыл про свою неприятность. В конце концов, мне было только восемнадцать лет.

*Москва — Тель-Авив
1973-1975*

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЕВГЕНИЙ ЦВЕТКОВ. Геофизик. Родился в 1940 году. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Работал геофизиком в Институте физики земли АН СССР, там же защитил диссертацию. Затем перешел в журнал "Знание — сила", где работал заведующим отделом физики и химии. Автор многих статей и очерков, публиковался в "Неделе", журнале "Знание — сила" и других. В Израиль выехал в 1976 году.



НИНА ВОРОНЕЛЬ. (См. журнал № 4.)

АЛЕКСЕЙ ХВОСТЕНКО. Поэт и художник. Родился в 1940 году, в Ленинграде. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное техническое училище имени Мухомовой, живет в Москве. В открытой печати в СССР не выступает.



АНАТОЛИЙ ЖИГАЛОВ. Поэт и переводчик. Родился в 1941 году. Получил филологическое образование. В советских периодических изданиях стихи Жигалова почти не публикуются. Живет в основном переводами. В кругах московской интеллигенции Анатолий Жигалов известен также и своими работами в области живописи.

НАТАН ФАЙНГОЛЬД. Художник. Родился в 1930 году в городе Жмеринка на Украине. В 1952 году окончил Московский институт связи. Работал в исследовательских организациях военной и космической промышленности. В 1967 году оставил профессию инженера и целиком посвятил себя живописи и графике. Имел персональные выставки в СССР, Израиле и США. (Работы Натана Файнгольда репродуцированы в № 4 и № 6 нашего журнала.) Репатриировался в Израиль в октябре 1973 года. В последние годы перед выездом из России занимался еврейским Самиздатом. В частности, им было подготовлено издание основных произведений М. Бубера в Самиздате.



НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. (См. журнал №2.)

АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ (См. журнал №6.)

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН (См. журнал №1.)

DIGEST OF SEVENTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

YEVGENY TZVETKOV. Film Studio. Luck.

Film Studio is a science fiction story; it tells about man's loneliness and feeling of doom in the jungle of a big city. Human life, the author insists, has no value and is sacrificed for the demands of mass culture which; in the story, is represented by the movie Industry. Elements of fantasy in the story are combined with elements of satiric description of the life of Moscow in our time. Luck and Mushroom are also science fiction stories.

NINAVORONEL. Weary Sun.

In this one-act play four protagonists go boating in the Finnish Gulf, near Leningrad. Their complex relations and heated arguments reveal moral frailty of one of the personages; when man finds himself on the verge of death, says the author, he reveals his true nature which was hidden in everyday life.

ALEXEY KHVOSTENKO. Lyrics.

ANATOLY ZHIGALOV. Lyrics.

NATAN FEINGOLD. "Russian Intellectuals" and Israel.

This essay is an answer to Lev Tumerman's essay **Israel: Europe or Asia?** ("Vremia i mi", No. 5). The author stands firmly on the positions of Judaism and regards former Soviet Jews' atheism as a rudiment of the influence of Soviet ideology.

NATALIA RUBINSTEIN. Who is the Reader?

The author analyzes differences in approach to the book in Russia and in the Western World.

MARTIN BUBER. The Way of All Flesh. (Continuation; cf. "Vremia i mi", No. 6).

ARKADY BELINKOV. Collect Metal Refuse!

One more extract from the author's book **Surrender and Perdition of a Soviet Intellectual.**

VICTOR PERELMAN. I am German.

An extract from the author's autobiography **Russia Left Behind**, telling about the life of a Jewish teenager in Siberia during World War II.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

"Русская Мысль" — самая большая еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг, на 16 страницах среднего формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

"Русская Мысль" — не только звено, объединяющее старую и новую эмиграцию, не только голос, доходящий до России, и голос России на Западе, но и окно, открытое на Запад...

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

"РУССКУЮ МЫСЛЬ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Адрес редакции и конторы:

"LA PENSEE RUSSE"

217, Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France.

Tel. 227-05-79 766-21-83 924-94-47

Оплата подписки по ССР 5883-44 — Paris или чеком.

Подписная плата для ИЗРАИЛЯ
Простой почтой

12 мес.	130 франков
6 мес.	70 франков
3 мес.	39 франков

Воздушной почтой

12 мес.	170 франков
6 мес.	88 франков
3 мес.	49 франков

Цена отдельного номера IL. 2.75



ЭТА ЭМБЛЕМА,

КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИИ БАНКА РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ ИЛИ МЕСТОМ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭМБЛЕМОЙ

ПЕРВОГО И КРУПНЕЙШЕГО БАНКА
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Банк Леуми существует в стране свыше 70 лет, он был создан прорицателем нашего государства д-ром Теодором Гершлем. Банк Леуми также большой международный банк. К вашим услугам 338 отделений Банка Леуми в Израиле и во всем мире.

Банк Леуми предлагает вам все услуги, которые только может оказать современный банк.

Здесь ваши деньги находятся в надежных руках и дают вам прибыль по 11 разным вариантам сбережения и страховых касс. Один из этих вариантов безусловно отвечает вашим потребностям и возможностям.

Вы заинтересованы в дополнительных подробностях? Просите в нашем ближайшем отделении или пришлите нам приложенный талон. У нас имеются проспекты о всех наших вариантах сбережения и пенсионных кассах также на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

БАНК ЛЕУМИ ЛЕЙСРАЭЛЬ Б.М.

Bank leumi  **בנק למומי**
LE-ISRAEL B.M. **בנק למומי**

----- Заполняйте и пришлите нам прилагаемый талон -----

- Прошу выслать мне проспект с подробностями о
- страховых кассах
- вариантах сбережений
- карманный словарь иврит-русский на сто слов.

Фамилия

Адрес.....

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах: повесть Зиновия Зинника "Извещение", рассказы Бориса Хазанова "Страх" и Светланы Шенбрунн "Брат мой", неопубликованные главы из книги Ю. Марголина "Путешествие в страну Зэка", отрывки из книги Виктора Перельмана "Покинутая Россия", критические заметки о поэзии Иосифа Бродского, новые переводы израильских и зарубежных поэтов.

УСЛОВИЯ подписки

В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца - 49 лир 50 аг.

6 месяцев — 99 лир.

9 месяцев - 148 лир 50 аг.

12 месяцев - 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев -19.60 Ъ

на 12 месяцев 39.20\$

Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$

во ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — 78 F.FR.

на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев -46 DM

на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив.
Тел.621085.**

62/9 Nachmani st.

Tel: 621085.

Фотоэтиюд "У Стены плача в Иерусалиме"

